

Питер Флеминг

Судьба адмирала Колчака 1917–1920



МОСКВА
Центрполиграф
2006

**ББК 63.3(2)612
Ф71**

Предисловие	3
Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	21
Глава 4	29
Глава 5	36
Глава 6	44
Глава 7	51
Глава 8	60
Глава 9	67
Глава 10	73
Глава 11	81
Глава 12	88
Глава 13	95
Глава 14	103
Глава 15	110
Глава 16	119
Глава 17	124
Глава 18	132
Глава 19	137
Глава 20	145
Глава 21	149
Глава 22	157

ПРЕДИСЛОВИЕ

Флеминг, Питер.

Ф71 *Судьба адмирала Колчака. 1917–1920* / пер. с англ. Л. А. Игоревского. — М. : Центрполиграф, 2006. — 272 с., ил. — (Россия в переломный момент истории).

ISBN 5-9524-2530-5

Книга Питера Флеминга — это попытка серьезного и объективного исследования событий, происходивших в Сибири после революции. Чтобы придать масштабной и довольно хаотической картине стройность и смысл, автором была избрана личность, в которой, как в фокусе, отразились все противоречия этого времени — адмирал Колчак.

ББК 63.3(2)612

ISBN 5-9524-2530-5

© Флеминг П., текст, 2006.

© Игоревский Л. А., перевод, 2006.
© Оформление. Центрполиграф, 2006.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интерес к событиям, описанным на этих страницах, зародился у меня осенью 1931 года, когда в возрасте двадцати четырех лет мне довелось впервые проехать по Транссибирской магистрали. Тогда я очень мало знал о Гражданской войне, закончившейся десятью годами ранее, однако, замечая остатки заграждений из колючей проволоки на подступах к большинству мостов и следы пуль на стенах станционных зданий, я начинал размышлять о сражениях, оставивших эти едва заметные следы в глухих уголках огромной безлюдной территории.

В последующие годы я подолгу жил в Маньчжурии и отдаленных районах Северного и Северо-Западного Китая, где слышал — зачастую от непосредственных участников — множество рассказов о Гражданской войне в Сибири. Мало-помалу в душе моей зарождался интерес к центральному действующему лицу тех печальных событий — адмиралу Колчаку. Не только русские белогвардейцы, но и жившие там европейцы почти неизменно говорили о нем с уважением и восхищением. Почему же тогда его миссия провалилась с таким треском? И что же в действительности привело его к бесславному концу? Предательство, как утверждало большинство? А если предательство, то чье? И каковы его причины? И при чем тут железнодорожный состав с золотыми слитками, фигурировавший во всех версиях этой истории?

В 1960 году что-то (я сейчас не могу вспомнить, что именно) оживило мое дремлющее любопытство. На мое объявление в «Таймс» откликнулся сын адмирала, который во время смерти отца был еще ребенком. Я — в четвертый раз — проехал по Транссибирской железной дороге до Иркутска, где погиб Колчак. В Англии и Франции я нашел людей, живших в Сибири во время Гражданской войны. Я взялся за изучение обширной литературы, разъяснявшей, дополнявшей или — как некоторые советские и белогвардейские источники — искажавшей реальную картину того, что случилось с человеком, чуть более года именовавшимся «верховным правителем России». Результаты моих трудов вы найдете в этой книге.

Политическая обстановка в тот период была сложной. Сибирь оказалась всего лишь одним из полудюжины российских театров военных действий, где Антанта осуществила интервенцию — но вовсе не в результате согласованной политики. Все страны Антанты и их союзники действовали исходя из собственных побуждений. Надежды, страхи и заблуждения, определявшие их мотивы, никогда подолгу не оставались постоянными, по-

сколько расстановка сил за пределами России то и дело стремительно менялась, нарушая связи и опрокидывая предположения — в большинстве своем необоснованные, — на которых строились планы стратегов Антанты.

Ход истории стал напоминать человека, завязшего в болоте. Выбираться необходимо, но стоит осторожно ступить вроде бы на твердую кочку, а в данном случае опереться на кажущийся неопровержимым факт, как факт превращается в иллюзию, словно почва, уходящая из-под ног. Трясина вздымается, выпускающая отвлекающие внимание пузырьки. Так и историк тех событий, проворно перескакивающий на очередную «кочку» фактов, обнаруживает, что и она не в силах выдержать груза истины. В конце концов бедняга, совершавший все эти гимнастические упражнения в надежде объяснить происхождение пузырьков и значение колебаний, прибывает на сибирскую *terrafirma* (твердую землю) совершенно измученный. Как утверждает Джордж Ф. Кеннан, «любой, кто пытается вкратце изложить реальные причины сибирской интервенции, возлагает на себя почти невыполнимую задачу».

Я попытался как можно быстрее провести читателя через таинственное болото, с такой впечатляющей тщательностью нанесенное на карту истории другими авторами и, особенно, мистером Кеннаном. То, что говорилось, замышлялось и свершалось в столицах стран Антанты версальскими подстрекателями войны, а позже парижскими миротворцами, представляет завораживающий образчик международных отношений. Однако следует отметить, что стратегия союзников, хотя и играла важную роль в расстановке декораций и постановке драмы на сибирской сцене, весьма мало повлияла на манеру исполнения занятых в спектакле актеров.

В Сибири не гремели генеральные сражения, не сходились в смертельной схватке мощные кавалерийские корпуса, попеременно приносившие успех то белым, то красным в Южной России. Военные кампании Колчака не представляют особого интереса, и я не останавливаюсь на них подробно. Эта книга также не является попыткой рассказать о том, что происходило в лагере его врагов. Даже краткое изложение тягот и успехов советского правительства за тот период перегрузило бы книгу и нарушило хронологическое изложение событий, к коим деятельность Кремля имеет лишь косвенное отношение. Однако я не пренебрег описанием самых значимых военных действий 5-й армии красных и партизан.

Моя главная цель обозначена в заглавии этой книги. Я хотел с максимально возможной точностью выяснить обстоятельства поражения Колчака, предательства, с которым ему пришлось столкнуться, и его смерти. Думаю, я могу утверждать, что мне это удалось. Меньше уверен я в том, что сумел дать полное представление о загадочной и противоречивой натуре Колчака, на удивление не соответствующей сложившемуся представлению о «рус-

ском характере». Колчак-человек и Колчак-диктатор — словно Джекил и Хайд, добро и зло в одном и том же человеке. Колчак-человек был честен и благороден до донкихотства — диктатор стоял во главе коррупционной и варварской государственной системы. Человек был рожден командовать — диктатор оказался неспособным осуществлять единоличную власть. Человек вызывал доверие и уважение — диктатор — неповиновение и ненависть. Я сделал все возможное, дабы решить проблемы, вызванные этими противоречиями, но и сейчас, как тридцать лет назад, адмирал Колчак для меня загадка.

*Питер Флеминг.
Нетлбед, Оксфордшир.
Апрель, 1963.*

Глава 1

Ранним утром 14 мая 1918 года в Челябинск, небольшой тогда городок, расположенный там, где Транссибирская железная дорога вырывается из предгорий Урала на обширную Сибирскую равнину, прибыл поезд с востока. Его вагоны были битком набиты австрийскими и венгерскими военнопленными из Сибири, подлежащими репатриации по условиям Брестского мира, который двумя месяцами ранее советское правительство вынужденно заключило с Германией и ее союзниками. В эшелоне не было ни русской охраны, ни австрийских или венгерских офицеров.

Через тот же челябинский вокзал, но только в обратном направлении прошло несколько поездов с солдатами 3-го и большей части 6-го полков Чехословацкого корпуса. У этих людей, в последнее время перевозимых на восток, не было гражданства, поскольку их родная Богемия все еще являлась частью империи Габсбургов. Однако в феврале большевистская власть объявила их автономной частью чехословацкой армии во Франции¹ и отправила во Владивосток. Оттуда, по решению Верховного военного совета союзников, им предстояло отправиться вокруг света на укрепление Западного фронта, еле выдерживавшего давление Германии.

Чехословацкие эшелоны в Челябинске были одним из звеньев разорванной цепи, с большими интервалами протянувшейся на 8 тысяч километров от Волги до Тихого океана. На железнодорожных путях находилось шесть или

¹ По численности эта «армия» составляла примерно одну бригаду. Еще одна бригада в тот же период формировалась на Итальянском фронте. Оба соединения принимали участие в боевых действиях в последние недели войны, закончившейся в ноябре 1918 г. (Здесь и далее примеч. авт., кроме особо оговоренных случаев.)

семь десятков поездов (впоследствии это число удвоилось). Первые эшелоны уже достигли Владивостока, но движение замыкающих замедлилось и стало непредсказуемым, а в конце апреля фактически остановилось.

Пассажиры поездов, встретившихся в Челябинске, не питали взаимных дружеских чувств. Возвращавшиеся военнопленные считали чехов² предателями, поскольку многие из них были дезертирами или при первой же возможности сдались царским войскам, а чехи видели в австрийцах и венграх ненавистную *расу господ*, олицетворявшую тиранию, от которой они жаждали избавиться. Более же близким поводом к раздражению чехов являлось то, что эшелоны с военнопленными, и так, к их зависти, направлявшимися домой, пропускались железнодорожниками в первую очередь. Германия, обеспокоенная слухами о намерении Японии оккупировать Сибирь, настаивала на немедленной эвакуации военнопленных из этого региона. Перевозка пленных по железной дороге, перегруженной и до революции, а теперь совершенно дезорганизованной, и была одной из причин задержки эшелонов с чехами. Для обеих групп, озлобленных простоями, неопределенностью и лишениями, встреча на челябинском вокзале таила опасности.

На протяжении войны в России обращались с пленными часто весьма жестоко и потрясающе некомпетентно, и, когда те жаловались на голод, чехи и словаки, по натуре не воинственные, делились с ними своими пайками.

Несмотря на это, многие из прибывших на станцию австрийцев и венгров вели себя надменно и оскорбительно, и, когда поздним утром просвистел свисток, они вернулись в вагоны разозленные. Как только поезд медленно тронулся с места, кто-то из находившихся в последнем вагоне выкрикнул грязное ругательство на венгерском языке, прекрасно понятое словаками, и швырнул крупный обломок чугунной печки в группу чешских солдат — один из них упал на землю, из раны на голове хлынула кровь.

Это переполнило чашу терпения чехов. Они вскарабкались на локомотив, остановили не успевший набрать скорость поезд, высадили из последних трех вагонов человек семьдесят или восемьдесят и потребовали назвать виновника, которого никто из стоявших на платформе не разглядел. Поначалу австро-венгры отказались, но чехи угрожали оружием, а у военнопленных, более всего желавших продолжить путь к свободе, не было времени проявлять героизм. Провинившегося венгра выдали, и чехи повесили его на месте, а поезд, натужно пыхтя, двинулся к Уралу.

На протяжении весны 1918 года по разным причинам хладнокровно или сгоряча было жестоко истреблено множество людей. На Западном фронте немцы, французы, британцы и американцы убивали друг друга де-

² Здесь и далее словами «чехи», «чешский» обозначаются, как правило, и чехи, и словаки. Так говорили и писали и во время излагаемых в книге событий. (Примеч. ред.)

сятками тысяч. Военные действия не утихали на Итальянском фронте. В России, хотя террор еще не разгулялся, человеческая жизнь ценилась дешево. Однако во всей этой бойне никакая другая смерть одного-единственного человека не имела таких далеко идущих последствий, как смерть венгра, скоропалительно казненного на далекой сибирской станции, ибо, как сформулировано в одном из авторитетных источников, «эта малоизвестная ссора... была той искрой, из которой разгорелось пламя Гражданской войны на бескрайних просторах России».

Местные представители советской власти, запоздало прибывшие на место происшествия с отрядом Красной гвардии, объявили о создании комиссии по расследованию инцидента и, после неизбежных споров, нескольких чехов, как свидетелей, забрали в город, находившийся в то время примерно в 5 километрах от станции. Два дня об этих людях ничего не знали, и в Челябинск отправилась делегация под руководством чешского офицера, чтобы потребовать их освобождения, но за все свои хлопоты делегация была арестована и отправлена в тюрьму.

Чехи знали, что позиции большевиков в регионе весьма шатки, и, хотя челябинский гарнизон насчитывал около двух тысяч человек, власти не были уверены в его поведении в критический момент. Чешское командование решило действовать нагло, и в центр города вошли два батальона, для вооружения которых были использованы все имевшиеся у чехов ресурсы.

Наглость себя оправдала. Власти выпустили задержанных и принесли извинения, но заявили, что заведенное дело будет направлено в Москву. Тем временем поезда с чехами все еще стояли на запасных путях. Теперь речь шла не о том, когда они будут отправлены, а будет ли им вообще позволено двигаться на восток. Чем жарче пригревало майское солнце, тем сильнее сожалели застрявшие в Челябинске чехи о том, что по прибытии не разместили отхожие места подальше от поездов.

История и статус (в 1918 году первая была коротка, а второй — неокончательно оформлен) чехословацкого национального движения будут представлены в одной из последующих глав. Сейчас же достаточно отметить, что к середине мая 1918 года множились признаки того, что по ряду причин советское правительство раскаивалось в своем решении позволить Чехословацкому легиону³ покинуть территорию России (где несколькими неделями ранее он сражался вместе с Красной армией против немцев) и проследовать на Западный фронт через Владивосток и в любой момент могло свое решение аннулировать.

Решение выпустить легион из страны приняли в Москве 15 марта, и на тот момент оно казалось вполне разумным. Присутствие в России 42-

³ В российских документах и историографии — Чехословацкий корпус: сами чехословаки называли его Русский легион — по месту формирования. (Примеч. ред.)

тысячного контингента иностранных войск, жаждавшего продолжать войну, из которой сама Россия вышла, было парадоксально, однако, как братья-славяне и до недавнего времени товарищи по оружию, стойко сражавшиеся против общего врага, чехи заслуживали уважения. У Москвы были все возможные мотивы для обеспечения их вывода, но не для их задержки.

Однако в последующие два месяца ситуация изменилась. На границах Маньчжурии и Сибири, в дальнем конце железнодорожной магистрали, по которой двигались чехи, поднял знамя контрреволюции казачий атаман Семенов (о нем будет подробнее рассказано далее). Он был известен как сторонник Антанты, и советские правители вполне обоснованно начали сомневаться в разумности соглашений, ведущих к тому, что на театр военных действий с Семеновым вводилось компактное соединение экспедиционных войск — Чехословацкий легион, — по сути находившееся под командованием Антанты.

Эти опасения заставили Москву настаивать на частичном разоружении чехов, дабы они путешествовали не как войсковые части, а как группы свободных частных граждан, имеющих некоторое вооружение для защиты от нападений контрреволюционных сил. В теории каждому эшелону полагалось 168 винтовок с 300 патронами на винтовку и один пулемет с 1200 патронами, но на практике чехи, в хитрости и материальных возможностях всегда превосходившие русских, без труда спрятали в поездах гораздо больше вооружения. Хотя русские считали оружие своим, процесс сдачи некоторого его количества проходил с разногласиями и отсрочками в атмосфере взаимного недоверия. 14 апреля офицеры 1-й чешской дивизии (состоявшей в основном из западных частей) тайно решили больше вообще оружия не сдавать.

К тому моменту развитие событий на востоке еще более ослабило надежды чехов на эвакуацию. Во Владивостоке (где чуть позже продолжительное отсутствие транспортных судов для вывода легиона из России еще больше усилило подозрение Москвы насчет истинной роли чехов в планах империалистов) находилось несколько военных кораблей Антанты, главной обязанностью которых было следить за огромными военными складами в доках и по соседству с ними. Это имущество, общей стоимостью приблизительно один миллиард американских долларов, доставили в Россию союзники, от которых она отступилась. За него не только не было заплачено, но его могли перевезти на Запад, и оно могло попасть в руки немцев. В отличие от остальной Сибири Владивосток официально не находился под контролем Советов, однако большевики в городе становились все влиятельнее, вели себя все агрессивнее и дерзко пользовались своими преимуществами. Кроме всего прочего они начали систематически вывозить со складов военные припасы товарными поездами.

4 апреля во Владивостоке неизвестные стреляли в троих японских подданных — чиновников конторы, занимавшейся отправкой грузов. Один из них был убит. На следующий день, проконсультировавшись со своим генеральным консулом, японский адмирал высадил двести матросов и морских пехотинцев, а впоследствии отправил им подкрепление. Старший по званию британский морской офицер капитан Пейн приказал сойти на берег пятидесяти морякам корабля ВМС Великобритании «Суффолк». Американский адмирал Найт, подчиняясь приказам из Вашингтона, вмешиваться не стал. Французских военных кораблей в порту не было.

Японцы и британцы всего лишь приняли меры предосторожности, к тому же по инициативе местных властей.

Во Владивостоке сложилась напряженная и неопределенная ситуация, и десантные отряды предназначались для защиты жизни и имущества иностранцев, если события выйдут из-под контроля. Однако уже некоторое время в Москве всерьез опасались вторжения японцев в Сибирь. В марте 1918 года газета «Известия» резко отреагировала на сообщения о высадке десанта, используя такие выражения, как «патриотический долг» и «советская Родина», находившиеся прежде под идеологическим запретом. Причем для народа, традиционно свободного от расовых предрассудков (за исключением антисемитизма), сильнейшее отвращение, с которым русские отзывались об японской угрозе, просто удивительно⁴. Здесь наблюдался полный контраст с покорностью судьбе, проявленной после подписания Брестского мира, по условиям которого германские армии оставались на оккупированной ими территории России. Пожалуй, разгадку этой избирательной ксенофобии дал Троцкий в июне 1918 года, заявив, что если бы ему пришлось выбирать между немцами и японцами, то в качестве завоевателей он предпочел бы первых, так как немцы — более культурный и образованный народ с большим количеством рабочих и, следовательно, более способны к осознанию происходящего — то есть к свержению существующего строя, а значит, революции.

Японцы же — совершенно чуждый народ, в России не знают их языка, и японский рабочий класс менее сознателен.

Что бы ни скрывалось за страхом России перед Японией, новости о морском десанте 5 апреля вызвали волну возмущения, смешанного с паникой. В правительственном манифесте в тот день провозглашалось: «Рабочие и крестьяне! Новая страшная угроза грядет с Востока!» Странам Антанты по немногим пока открытым полудипломатическим каналам были отправлены яростные протесты. Как неизбежный результат, продвижение чешских эше-

⁴ Если, конечно, не учитывать печальную память Русско-японской войны с ее большими людскими потерями и отторгнутыми территориями. (Примеч. ред.)

лонов к Тихому океану еще более замедлилось, а по приказу от 21 апреля совершенно прекратилось⁵.

В Москве известие об инциденте в Челябинске (где чехи уже успели занять железнодорожную станцию и ее окрестности) вызвало сильнейшую реакцию. 20 мая были арестованы два ведущих члена русской секции Чехословацкого национального совета Макса и Чермак. Их заставили подписать телеграмму с приказом всем чешским военным частям сдать оружие советским властям. На следующий день Аралов, заместитель Троцкого в наркомате по военным и морским делам, опрометчиво издал приказ, по которому чехи либо реорганизовывались в трудовые батальоны, либо призывались в ряды Красной армии. 23 мая за его же подписью последовали еще более суровые и точные инструкции: чехов задержать, разоружить и расформировать. А в конце концов, 25 мая, в дело вмешался Троцкий, послав всем местным властям вдоль железнодорожной магистрали телеграмму, категорически запрещающую дальнейшее продвижение на Восток всех чешских эшелонов и предписывавшую — среди прочих крутых мер — любого чеха или словака, обнаруженного с оружием в руках, расстреливать на месте. Отсрочка в исполнении этих приказов объявлялась предательством и влекла за собой жесточайшие наказания.

В России контроль над железнодорожной станцией означал контроль над всей информацией, проходящей по телеграфной линии, или как минимум доступ к ней. Поскольку телеграммы из Москвы не шифровались, чехи, находившиеся в Челябинске, оказались в курсе предписаний правительства. Как раз тогда проходил съезд делегатов из ряда других чешских частей, и уже было принято два важных решения: во-первых, объявить циркулярной телеграммой, что легион отныне не будет сдавать никакого оружия до тех пор, пока «мы не получим гарантии свободного выезда»; во-вторых, игнорировать приказ об изменении маршрута поездов, находящихся западнее Омска, и отправке их в Архангельск. (Данный приказ советского правительства фактически в точности отражал стратегию Антанты на тот момент и стал для ее неофициальных московских представителей маленьким триумфом, однако, когда чехам запоздало это объяснили, они так и не увидели ни смысла, ни большой опасности в изменении плана, по которому их войска разделялись на две совершенно оторванные друг от друга части.)

Итак, когда делегаты съезда перехватили угрожающую телеграмму Аралова, они уже были настроены непримиримо, и телеграмма Троцкого от 25 мая, практически объявившая им войну, убедила их в том, что единственный способ выбраться из России — пробиваться с боями. Соответствующие

⁵ Десять дней спустя условия смягчились. Эшелоны, уже находившиеся восточнее Омска, могли следовать дальше. Те, что находились западнее Омска, отправлялись по новому маршруту — в Архангельск для эвакуации из этого северного порта.

приказы были разосланы по Транссибирской магистрали в обоих направлениях, и на рассвете 27 мая красный гарнизон Челябинска был без труда блокирован и разоружен.

Повсюду стремительные и решительные действия чехов приносили им аналогичный успех, хотя иногда приходилось вести тяжелые бои. 26 мая был взят Новониколаевск, 29-го — Пенза, 31-го — Петропавловск и Томск, а через неделю пал Омск. В Мариановке и одном-двух других городках чехи понесли потери в неожиданных атаках и засадах, но везде им удалось одержать верх, и ни один их даже самый слабый и изолированный отряд не потерпел поражения.

Можно загнать противника в ситуацию, когда у него не остается другого выхода, кроме как вступить в бой, а именно так поступил Троцкий с чехами. Однако в войне подобная тактика окупается редко. В мае 1918 года советское правительство испытывало давление и угрозы со всех сторон, ощущало нехватку во всем и по вполне понятным причинам находилось в отчаянии, но если бы Троцкий подавил свой воинственный порыв, если бы использовал хитрость вместо силы, то чехи никогда не стали бы (по выражению Ллойд Джорджа и многих других) «определяющим фактором» интервенции Антанты в Сибири⁶. Чехи вовсе не хотели сражаться с большевиками. Их солдаты в Сибири, их политические лидеры в Вашингтоне и Париже, их главный покровитель, французское правительство, страстно желали одного и того же — вывести легион из России. Это же было и главной целью советского правительства. С такими многочисленными и мощными факторами в пользу первоначально взятого курса на эвакуацию — хотя бы пока этот курс не противоречил интересам Советов — действия Троцкого по ускорению прямого столкновения были в лучшем случае преждевременными, а в худшем — грубой ошибкой.

Его кровожадный приказ от 25 мая ясно свидетельствует о двух обстоятельствах. Во-первых, Троцкий полагал, что разбросанные чешские эшелоны находятся всецело в его власти. Во-вторых, он боялся, что легион представляет или будет представлять опасность для государства. Он ошибался, а если бы и был прав, то есть если бы чехи в конце мая находились в ловушке, ничего бы не изменилось ни через неделю, ни через месяц. Если бы он получил доказательства обоснованности своих страхов, то мог бы в любой момент захлопнуть капкан, а в отсутствие подобных доказательств мог бы на своих собственных условиях позволить чехам медленно тащиться по Сибири. В конце концов, авторитету советской власти в Челябинске они нанесли незначительный урон, и ситуация не выглядела взрывоопасной даже в местных масштабах. Все можно было бы уладить, позволив чехам про-

⁶ Некоторые коммунистические историографы заходят настолько далеко, что предполагают, будто Троцкий намеренно спровоцировал чехов, действуя в интересах Антанты.

должать их путь. Никаких причин для истерик. Троцкий же в порыве раздражения запустил необратимые процессы, в результате которых большевистская власть была сброшена на Урале и в Сибири и появился повод для интервенции Антанты в этом регионе.

Троцкий заблуждался, его страхи не имели реальных оснований, во всяком случае в тот момент. Его действия, вернее, попытки действий против чехов дали совершенно противоположный результат. Троцкий намеревался ликвидировать незначительную потенциальную угрозу советской власти, но на самом деле создал опасность, которую нельзя назвать ни незначительной, ни потенциальной.

Глава 2

В 1914 году, вступая в войну против Германской и Австро-Венгерской империй, Франция и Великобритания возлагали большие надежды на своего восточного союзника. Однако очень скоро выяснилось, что «русский паровой коток», несомненно тяжеловесный, плохо сконструирован и ненадежен. Уже через несколько месяцев он норовил катиться назад и требовал огромного количества военных припасов, которые приходилось отрывать от Западного фронта.

Несмотря на это, Россия как воюющая сторона более трех с половиной лет оставалась одной из стен арены, на которой велась окопная война. В штабах Жоффра и Хейга всегда имелась про запас другая карта. На ней желтыми и черными булавками можно было набросать еще более унылую картину, чем та, которую создавали синие и красные булавки ближе к родным пенатам. Все же была и светлая сторона: русский фронт, причем очень длинный, *существовал* и сковывал сотни тысяч вражеских солдат, которым противнику приходилось целыми составами постоянно подвозить продукцию задыхавшихся фабрик и заводов: винтовки, патроны, снаряды, сапоги, перевязочный материал, велосипеды, упряжь и вьючные седла, лекарства и хирургические инструменты, колючую проволоку и полевые телефоны, кирки и лопаты, короче, все то войсковое имущество, которое армии не могли ни смастерить сами, ни реквизировать у населения. Русский фронт, даже когда дела шли хуже некуда, неизменно отвлекал на себя внимание германского Верховного командования, и с самого начала войны именно этот непреложный факт накладывал отпечаток на планы, строившиеся в лагере западных союзников.

Именно поэтому Франция и Великобритания с недоверием, тревогой и возмущением наблюдали за неожиданным выходом России из войны.

8 ноября 1917 года, после захвата большевиками власти в Петрограде, «рабочее и крестьянское правительство... опиравшееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», ставшее *de facto* властителем России, призвало все воюющие стороны «начать немедленные переговоры, о справедливом и демократическом мире». Через три недели германское правительство дало благоприятный ответ, а через шесть недель Россия подписала перемирие с центрально-европейскими державами⁷ в Брест-Литовске, и бои на Восточном фронте прекратились. Они снова разгорелись в середине февраля, когда мирные переговоры сорвались и германские войска перешли в наступление, практически не встречая никакого сопротивления. Когда же наконец 3 марта 1918 года в Брест-Литовске заключили мирный договор, Германия (тем временем заключившая сепаратный мир с новым правительством Украины) занимала прибалтийские земли, большую часть Белоруссии, всю Украину, Крым, Южную Россию вплоть до реки Дона. Разумеется, необходимо было управлять этими территориями, ставить гарнизоны и вывозить ценности, однако для выполнения этих задач годились и вспомогательные войска, а потому зимой 1917/18 года германское Верховное командование смогло перевести с Восточного фронта на Западный около сорока передовых дивизий. Вместе с ними было переброшено огромное количество вооружений: вся артиллерия, авиация, танки и другое снаряжение, предназначенное для фронта, прекратившего свое существование.

Триумф большевизма был политическим феноменом, все аспекты которого вызывали отвращение в бывших союзниках России, однако самые непосредственные и пока самые важные его последствия вне России носили военный характер. 21 марта 1918 года немцы осуществили свое последнее и самое мощное наступление на Западе, жертвой которого пала 5-я британская армия. Рухнул весь Западный фронт. Париж подвергся обстрелу дальнобойной артиллерии. И словно прорвало плотину — газеты снова затопило напечатанными мелким шрифтом бесконечными списками погибших. В эти недели безнадежного отчаяния и зародилась идея интервенции. То же самое случилось бы, если бы большевики были буддистами, или либералами под руководством Гладстона, или кем бы то ни было. Интервенция вызрела из того, что казалось военной необходимостью, из ситуации, грозившей неминуемым поражением.

Советские историки, как язвительно отмечает Кеннан, предпочли проигнорировать эту истину, отбрасывая, искажая или же изобретая необходимые доказательства, дабы «поставить исторические факты с ног на голову и создать картину, в которой реальные события того периода становятся аб-

⁷ Имеются в виду Германия, Австро-Венгрия и их союзники. Колчак употреблял такое имевшее хождение в то время определение — «союз срединных империй». (Примеч. ред.)

солютно непонятными». Они стремились представить интервенцию как империалистический заговор, легкомысленный и беспринципный одновременно, спровоцированный завистью, жадностью и страхом и поставивший целью задушить в зародыше Советское государство. В этой карикатуре можно узнать интервенцию, какой она *стала*, но первопричины неудачной политики лежали — и сей факт невозможно оспорить — в крайней необходимости возместить колоссальные потери, понесенные союзниками России из-за ее дезертирства.

Надо признать, что к осени 1917 года, еще до того, как большевики вырвали власть у Временного правительства, русские армии пали духом, а в народе недоумение и покорность судьбе уступили место апатии. Наблюдалось открытое недовольство. Руководство не справлялось со своими задачами. Однако даже учитывая все это, оспаривать важность того, будет ли Россия продолжать сопротивление или сложит оружие, означает упускать два существенных момента.

Первый: противник, отказывающийся признать поражение, даже когда ему явно грозит разгром, остается по меньшей мере помехой и во избежание неблагоприятнейших последствий должен быть уничтожен (эта проблема встала перед Гитлером на побережье Ла-Манша двадцать три года спустя). К осени 1917 года немцы далеко продвинулись в уничтожении России, однако в свое время то же случилось и с Наполеоном. Обговаривая условия (кои в данном случае диктовались немцами), советские лидеры выбрали единственный курс, который полностью развязывал германскому Верховному командованию руки на Востоке. Причем Советы действовали столь поспешно, что у немцев осталось более четырех месяцев на передислокацию войск перед новой военной кампанией.

Второе важное обстоятельство: ни Франция, ни Британия не сознавали и даже отдаленно не представляли, насколько плохо обстояли дела в России в 1917 году. Оба правительства получали тревожные доклады от своих представителей в Петрограде и других местах, но уже давно все известия из России были тревожными, а в год Пашенделя и Капоретто⁸ союзники были склонны рассматривать события в России с некоторым безразличием и, может, даже испытывали в том потребность. Они немногого ждали от России. Но они не ожидали самого худшего. Так что, когда наихудшее случилось и союзники вдруг увидели, что отныне Германия может сражаться с ними обеими руками, они не собирались ни делать скидок новой России, ни признавать, что старая находилась на грани разорения и истощения и не явилась большой потерей. Вспоминая огромные надежды, которые они когда-то воз-

⁸ Капоретто — населенный пункт в Северо-Восточной Италии, около которого в октябре 1917 г. итальянская армия была разбита германо-австрийскими войсками. (Примеч. пер.)

лагали на Россию, торжественные договора, подписанные с ней, и предоставленную ей огромную финансовую и материальную помощь, союзники видели в нарушении ею обязательств обыкновенное предательство и вскоре почти убедили себя в том, что это непредвиденное развитие событий, столь благоприятное с точки зрения Германии, вызвано немецкими заговорами и подкупом.

Оба эти предположения ошибочны. Ленин, Троцкий и их соратники не были заинтересованной стороной в войне. Поскольку в их идеологии не оставалось места концепции преданности империалистическим союзникам, разговоры о предательстве были выше их понимания — подобные обвинения казались этим фанатикам скорее несерьезными, чем обличительными.

Однако чисто по-человечески западные союзники не могли не формулировать подобные теории и делать из них выводы. Отсюда, основываясь на страшных реалиях войны, следовало создавать такую моральную и эмоциональную атмосферу, в которой безотчетно лишь на советское правительство возлагалась бы вина за любые неудобства, связанные с восстановлением в России антигерманского фронта, который она своевольно разрушила.

До бесславного провала 1920 года интервенция прошла путь от скромного начала за Полярным кругом до полудюжины театров военных действий. В каждом случае мотивы и поводы у союзников были разными, так же как их роль и ответственность. Их поддерживало и им противостояло паразитическое множество политических и национальных групп. В Баку, например, британские войска сражались бок о бок с армянскими революционерами, тщетно пытаясь спасти город от турок. В Прибалтийских государствах в 1919 году в пеструю толпу антибольшевистских сил, напрямую или косвенно получавших выгоду от интервентской политики Британии, входили и немецкие добровольцы. Единственная характерная общность всех этих театров военных действий настолько очевидна, что ее легко можно проглядеть. Речь идет о *доступности* — Антанта вторгалась в Россию везде, где это было физически возможно сделать.

В период войны застой неестественен, слабость неприлична — комбинация этих двух составляющих почти всегда способствует появлению заумных необоснованных планов, нацеленных на продолжение войны окольными путями. Зимой 1917/18 года союзные державы не могли собственными силами снова открыть Восточный фронт против Германии и неизбежно начали изыскивать альтернативный способ достижения того же результата. Не прошло и двух месяцев после большевистской революции, как военные представители Верховного военного совета рекомендовали «непрерывно оказывать поддержку всем национальным группам (в Южной России), полным решимости продолжать войну, всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», и первые двадцать из многих миллионов фунтов стер-

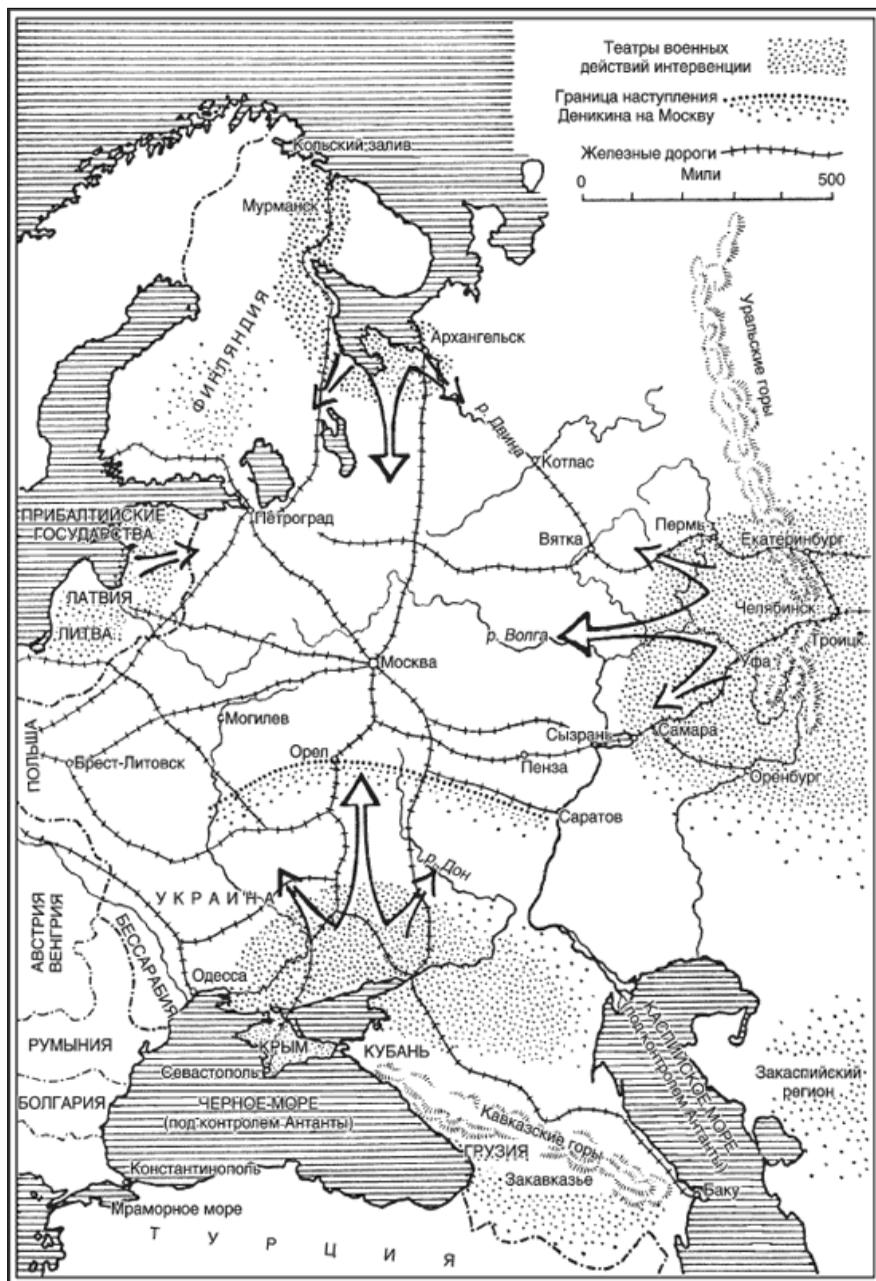
лингвов отправились в карманы казачьих и украинских лидеров. Из этих лидеров самым известным — пожалуй, уместнее сказать модным — был казачий атаман Каледин, хотя, как докладывал с места событий один британский офицер, калединское войско (насчитывавшее в начале декабря две роты с обещанием сформировать еще три) было «абсолютно никуда не годным и дезорганизованным». Дело в том, что Каледин, человек честный, был лидером местного значения, заинтересованным лишь в обеспечении автономии для своей казачьей родины на Дону, но ни в коей мере не стремился «продолжать войну», и выбор его кандидатуры союзниками в качестве их первого *протезе* на русской земле нельзя назвать удачным.

Правда, существовал неопределенный проект создания где-то в Южной России некоего бастиона или плацдарма, на который будут направляться или вокруг которого будут объединяться румынская армия, украинцы, выходцы из Закавказья и кто угодно, кого военные представители Верховного военного совета довольно оптимистично называли «нашими друзьями в России»⁹. В этой политико-стратегической фантазии центральная роль отводилась территории донских казаков. Хотя представители британского правительства в России настойчиво предупреждали, что Каледину и его казакам ни в коем случае нельзя доверять, в декабре 1917 года британское Военное министерство вынесло решение выделить атаману «финансовую помощь в любых необходимых размерах», что свидетельствовало об отчаянии, господствовавшем в высших сферах.

В течение всего периода интервенции неизменно существовало расхождение между тем, что политики намеревались сделать, и тем, что происходило на самом деле. Перевод денег в штаб Каледина на Дону представлял технические трудности, и до 11 февраля 1918 года, когда Каледин, растеряв большинство своих казаков, пустил себе пулю в лоб, он так ничего и не получил ни из Лондона, ни из других столиц западных союзников.

Решение поддержать Каледина приняли в Лондоне 3 декабря 1917 года. Три дня спустя британский посол в Токио отправил в министерство иностранных дел необычную просьбу от имени некоей высокопоставленной особы. Его русский коллега, докладывал сэр Коннингэм Грин, привел в британское посольство бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Александра Васильевича Колчака. Адмирал Колчак официально представил себя «без всяких условий и в любом качестве в распоряжение правительства Его Величества» и выразил желание «сражаться, если возможно, на суше на Западном фронте и, если потребуется, в чине рядового».

⁹ Представление о надеждах и заблуждениях, преобладавших в то время, дает послание, отправленное в Военное министерство британским военным представителем на Кавказе 1 января 1918 г. К апрелю этот офицер докладывал, что существует надежда создать новую армию из шести корпусов, состоящих из грузин, армян, русских добровольцев, ассирийцев и греков.



Карта № 1. Театры военных действий интервенции

Судя по тому, что этим благородным предложением занялся лично министр иностранных дел (12 декабря Бальфур запросил мнение адмиралтейства по этому вопросу), Лондон воспринимал Колчака серьезно. В отличие от Каледина, о характере и способностях которого практически ничего не было известно, Колчак имел отличную репутацию. Молодым офицером он отличился в исследовании Арктики, храбро сражался в Русско-японской войне, а в последующие годы, оставаясь в тени, играл ведущую роль в реорганизации адмиралтейства в Петрограде. Во время войны против Германии русский военный флот, запертый в Балтийском и Черном морях, имел мало возможностей для исправления своей репутации, пострадавшей в начале века в войне с Японией, однако выдающиеся способности Колчака как командующего были отмечены званием контр-адмирала в возрасте сорока трех лет, что было беспрецедентно для России¹⁰. Год спустя, в июне 1916-го, он получил чин вице-адмирала и был назначен командующим Черноморским флотом, где проявил и военный, и административный таланты. Когда под натиском революции дисциплина на флоте в конце концов рухнула, Колчак сложил с себя обязанности командующего, но наградного оружия не сдал, демонстративно бросив за борт золотую саблю во время общего собрания на палубе флагманского корабля. Затем адмирал принял приглашение военноморского департамента США возглавить небольшую техническую миссию в Америку. Он возвращался в Россию через Тихий океан, когда его настигли новости о большевистской революции и грядущем выходе России из войны. Телеграмма из британского посольства в Токио отразила его реакцию на эти новости.

Колчак обладал сильным чувством персональной ответственности. Свои услуги британскому правительству он предложил, как объяснял позже, потому, что «считал своим долгом, как один из представителей бывшего правительства, выполнить обещание союзникам; что те обязательства, которые были взяты Россией по отношению союзников, являются и моими обязательствами... и что поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства до конца и желаю участвовать в войне, хотя бы Россия и заключила мир при большевиках».

В то время русские офицеры были склонны к театральным поступкам, однако просьба Колчака позволить ему «сражаться, если возможно, на суше на Западном фронте и, если потребуется, в чине рядового» была высказа-

¹⁰ Прецеденты были. М. П. Лазарев контр-адмирал — в 38 лет, П. С. Нахимов — в 43, В. И. Истомин — в 42, С. О. Макаров — в 42 и др. Заметим, однако, что и Колчак, подобно им, получал свои чины за действительные отличия, а не «по случаю», не по связям. Командующий Балтийским флотом Н. О. Эссен перед смертью весной 1915 г. считал Колчака своим естественным преемником, однако именно по «молодости» и недостатке связей на самом верху Колчак этого, особо престижного, назначения не получил. (Примеч. ред.)

на не ради внешнего эффекта. Как он говорил на допросе два года спустя, «я знал хорошо английский флот, знал, что английский флот, конечно, не нуждается в нашей помощи... Затем, на что же я мог надеяться, идя в их флот? Я был командующим Черноморским флотом. Я бы пошел на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо знают, были бы в лужном положении. Если бы я был молодой офицер, то меня бы могли назначить на какой-нибудь миноносец, но тут оказалось бы нелепое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю идти в армию, хотя бы простым солдатом». Честность мотивов Колчака вне сомнений.

29 декабря министерство иностранных дел официально приняло предложение Колчака и через британского посла сообщило, что в ближайшее время будет решено, где его можно использовать с максимальной пользой. Тем временем Военное министерство (которое на всех этапах активнее других правительственных учреждений интересовалось интервенцией) взяло судьбу Колчака в свои руки, и в начале января 1918 года посольство в Токио получило просьбу обеспечить его путешествие в Месопотамию.

Какую именно службу имел в виду для Колчака Генеральный штаб, теперь неизвестно и вряд ли когда-либо прояснится, однако в те самые дни, когда рассматривалось предложение Колчака, в Лондоне приняли решение отправить из Багдада на Кавказ военную миссию под руководством генерала Денстервила. Отряд англичан под командованием Денстервила, как выяснилось позже, должен был взаимодействовать с маленьким, но отважным русским контингентом в Северной Персии, отказавшимся признать Брестское перемирие. Вполне вероятно, Колчаку отводилась некая роль в этом смелом предприятии, главной целью которого было не дать туркам захватить контроль над бакинскими нефтяными скважинами и создать на берегах Каспийского моря плацдарм для наступления на Индию.

С двумя из четырех морских офицеров, сопровождавших его из Америки, Колчак сел на первый же корабль, направлявшийся из Иокогамы в Шанхай. Там, в ожидании следующего рейса, ему пришлось задержаться на три недели, в течение которых его дела опять привлекли внимание министерства иностранных дел. В первые дни февраля 1918 года князь Кудашев, русский посол в Китае, обратился к британскому послу сэру Джону Джордану. По словам князя, он хотел проконсультироваться с Колчаком насчет Сибири и спрашивал, нет ли возможности привезти адмирала в Пекин. Колчаку, задержавшемуся в Шанхае, передали это предложение, но он не заинтересовался и ответил, что собирается в Месопотамию и не может менять свои планы без санкции британского правительства, приказам которого считает себя обязанным подчиняться. Тогда Джордан передал просьбу Кудашева в Лондон.

Министерство иностранных дел, а вероятно, и Военное министерство все еще стремились как можно быстрее доставить Колчака в Месопотамию.

10 февраля соответствующее послание передали адмиралу в Шанхай по британским консульским каналам. Начальник военной разведки, на том этапе руководивший передвижениями Колчака, возможно, в целях безопасности не известил Гонконг о приезде выдающегося добровольца, и по прибытии в порт адмирал столкнулся с неприятной необходимостью отмечаться в полиции каждый раз, как он сходил на берег.

Следующим портом захода был Сингапур. Адмирал достиг его 11 марта, и к этому моменту Военное министерство изменило свое решение. «Ваше тайное присутствие, — телеграфировал начальник военной разведки, — более желательно в Маньчжурии». Ситуация на Дальнем Востоке изменилась: князь Кудашев и акционеры Китайско-Восточной железной дороги хотели видеть адмирала в совете директоров. Это известие недельной давности передал Колчаку командующий британскими владениями на полуострове Малакка генерал Ридаут. Адмирал разгневался.

Он вызвался добровольцем сражаться на стороне стран Тройственного соглашения, предпочтительно на Западном фронте, а не заниматься нелегально коммерческой деятельностью на китайской территории. Смешно предполагать, что один из самых известных военных деятелей России сумел бы сохранить инкогнито в большой русской колонии в Маньчжурии. А если его присутствие там было действительно необходимо, то почему британцы не смогли предвидеть это месяц назад, когда Колчак и двое его спутников находились в Шанхае? Князь Кудашев тогда обращался к британцам, но они отвергли его просьбу и вынудили Колчака — за его собственный счет — обойти морем пол-Азии. Адмирал действительно имел все основания для гнева.

Однако сильнее гнева было его недоверие к «подводным течениям», вызвавшим (как он сильно подозревал) эти изменения планов. Китайско-Восточная железная дорога была русским концерном; за этой ширмой под вывеской Русско-Азиатского банка скрывалась масса финансистов и концессионеров, о которых Колчак имел весьма низкое мнение. Еще в Шанхае они намекали ему о планах использовать его имя и репутацию для развития бизнеса, отдаленно связанного — или вовсе не связанного — с продолжением войны. По слухам, адмирал пробормотал что-то о торговцах-мошенниках, когда отправлялся на беседу в штаб-квартиру генерала Ридаута.

Результатом этой беседы стала телеграмма в Военное министерство, в коей Ридаут докладывал, что если следует рассматривать известия о Маньчжурии как приказ, то Колчак подчинится, однако назначение в Месопотамию для него гораздо предпочтительнее. В ответ начальник военной разведки телеграфировал, что Колчак более не может быть полезен на Среднем Востоке. 13 марта Ридаут доложил: «Колчак вернется на север при первой же возможности». После этого адмирал и двое его спутников застряли в отеле «Рэффлз» почти на две недели в ожидании оказии для возвращения в Китай.

К тому времени путешественники оказались в трудном финансовом положении. В Америке Колчак и его офицеры были гостями правительства Соединенных Штатов и получали жалованье и денежные пособия от правительства Российской империи, которое до сих пор работало и имело средства. В Токио большую часть сэкономленных в Америке денег Колчак оставил в банке для последующего перевода жене в Южную Россию. Прошло уже более четырех месяцев с того момента, как он предложил свои услуги британскому правительству, но до сих пор никому не пришло в голову, что адмирал нуждается и определенно заслуживает некоторой финансовой поддержки в долгих путешествиях, совершаемых по инициативе начальника военной разведки. Сам же Колчак был слишком горд, чтобы лично поднимать этот вопрос. Его целеустремленность, безусловно, подтверждается тем фактом, что даже в обескураживающе неблагоприятной ситуации, сложившейся в Сингапуре, он не бросил дело, которое уже тогда казалось необычайно бесцельной и дорогостоящей охотой за химерами.

Он отправился на корабле в Шанхай в конце марта и приблизительно через месяц добрался до российского посольства в Пекине. «Я прислан в ваше распоряжение, — сказал он князю Кудашеву. — Какую миссию вы предполагали возложить на меня?»

Глава 3

В мае 1918 года декоративные озера Версаля накрыли огромными полотнищами, выкрашенными в цвет травы, — эти ухищрения уменьшали опасность того, что немецкие бомбардировщики в любой момент могут прервать совещание членов Верховного военного совета Антанты и их многочисленных советников. Грохот тяжелой вражеской артиллерии на Марне здесь был хорошо слышен. Время от времени на Париж сыпались огромные снаряды. Начинал претворяться в жизнь план эвакуации административных органов французского правительства из столицы в Бордо. Практически с каждым часом возрождение Восточного фронта становилось все более насущной необходимостью.

Проблема удара по Германии через Россию, сведенная к более простым, чем в первой половине 1918 года, условиям, представляла, или казалось, что представляла, три решения:

1. Воссоздание Восточного фронта силами советского правительства при поддержке Антанты.
2. Отправка японских экспедиционных сил через Сибирь для наступления на немцев в Восточной Европе.

3. Провоцирование превентивной либо отвлекающей деятельности «ловальных» русского, украинского, кавказкою или казацкого движений сопротивления, чтобы воспрепятствовать немцам (и заодно туркам) воспользоваться колоссальными экономическими выгодами Брестского мира.

Любой из этих трех проектов был несовместим с двумя другими. Ни один из них не представлял согласованную политику стран Антанты. Однако все три начали осуществляться одновременно. Поэтому неудивительно, что в результате получилась невообразимая путаница. Пожалуй, пришла пора представить в истинном свете ту хаотическую картину, что сложилась к середине лета, когда стали очевидными последствия челябинского инцидента.

Перспективы возобновления военных действий русскими.

Страны Антанты осуществляли контакты с советским правительством через трех неофициальных агентов. Роберт Брюс Локкарт, жизнерадостный тридцатилетний шотландец, хорошо знавший Россию и говоривший по-русски, представлял британское правительство и, хотя не занимал высокого положения по линии министерства иностранных дел, был доверенным лицом Ллойд Джорджа и лорда Милнера. Полковник Рэймонд Робинс из американского Красного Креста не имел статуса близкого к дипломатическому, как Локкарт, зато находился в тесном контакте с большевистскими лидерами. Благородный, но весьма самонадеянный идеалист, он умел, несмотря на незнание языка, улавливать суть событий и снабжал Вашингтон иногда более реалистичной и всегда более сочувственной информацией, чем та, что предоставлялась американским посольством. Капитан Жак Садуль, юрист по профессии, социалист по убеждениям, прикрепленный к французской военной миссии, был близко знаком с Троцким. Не столь влиятельный и гораздо менее объективный, чем Локкарт и Робинс, он оказался скорее сторонником, чем толкователем советской политики, и в конце концов вступил в коммунистическую партию.

Все трое работали в тесном сотрудничестве друг с другом. Все трое горячо поверили (они были людьми весьма темпераментными), что Россия может возобновить военные действия против Германии и одобрить или, в худшем случае, разрешить участие Антанты в военных операциях на русской территории. Советские лидеры, в особенности Троцкий, некоторое время поддерживали их веру. В конце марта дело даже дошло до того, что начали активно обсуждать привлечение кадровых французских, американских и итальянских офицеров к организации и обучению Красной армии, которая в те дни была лишь чуточку лучше вооруженной добровольческой милиции, недисциплинированной и плохо укомплектованной.

Однако подобное представление о Восточном фронте оказалось не более чем миражом. Мираж исчез, как только русские — вскоре после ратификации 15 марта 1918 года Брестского мира — осознали, что немцы не намереваются разрушать Советское государство. За исключением моментов паники и отчаяния, они должны были — а странам Антанты следовало — понять, что с самого начала весь план выглядел самоубийственным; сопротивление немцам могло вылиться лишь в уничтожение Красной армии (если бы вообще удалось заставить ее сражаться, что сомнительно) задолго до того, как такие недостаточные силы, какие Антанта могла выделить на интервенцию, прибыли бы на место действия.

Однако по различным причинам русских устраивало манить союзников этим мерцающим миражом. Самый очевидный из их мотивов — расчет на то, что, пока западные союзники будут надеяться на содействие Советов в войне против Германии, они не прибегнут к помощи Японии. К середине мая надежда умерла, и туманные проекты, которые Локкарт и его коллеги вынашивали, оставались очень далекими от воплощения в жизнь, а в общем-то никогда и не были к этому близки.

Японский паровой каток.

В сравнении с другими главными воюющими сторонами Япония вела необременительную и, безусловно, прибыльную войну. Без серьезных сражений она захватила германский плацдарм в Шаньдуне на побережье Китая и маленькие немецкие острова в северной части Тихого океана. Японский военный флот нес рутинную службу в Индийском океане и на Средиземном море. Японская промышленность, которой война дала стимул к развитию, производила достаточное количество боеприпасов, вооружения и военных материалов, в большинстве своем отправлявшихся в Россию.

Географическое положение было главным, но не единственным фактором, благодаря которому Японии вынужденно досталась роль «окопавшегося в тылу». Ее военные и политические руководители весьма обоснованно испытывали лишь вежливый интерес к войне в Европе. В долгосрочной перспективе они стремились воспользоваться статусом Японии как воюющей стороны и изнуряющим воздействием войны на врагов и союзников для упрочения своего экономического и политического положения в Китае. Цель Японии была предопределена в «Двадцать одном требовании», предъявленном Китаю (еще в 1915 году. — *Примеч. пер.*). Этот анонс захватнической политики глубоко шокировал общественное мнение в Соединенных Штатах Америки.

Итак, существовало две основные политические преграды для японской интервенции в Германию через Россию. Одна (которую союзники Японии плохо сознавали) состояла в том, что у Японии были другие цели и та-

кая авантюра противоречила ее главным интересам. О другой же Британия и Франция прекрасно знали: Америка столь сильно противостояла японской интервенции даже в самой ограниченной форме, что у этой идеи не было ни единого шанса найти свое место в согласованной стратегии западных союзников. Попытки Франции и еще более настойчивые усилия Британии преодолеть, разрушить или обойти эти преграды вовлекли правительства в длительную и бесплодную подковерную борьбу.

Несмотря на все усилия, так и не удалось поразить главную цель, а именно убеждения президента Вильсона. И только в конце июня, когда все последствия челябинского инцидента стали известны внешнему миру, Вильсон начал менять свое мнение и потихоньку признавать, что отправка в Сибирь экспедиционных войск Антанты (в которой Японии пришлось бы по необходимости играть ведущую роль) заслуживает серьезного и безотлагательного рассмотрения. К тому времени германское наступление на Западном фронте выдыхалось; противники менялись ролями. Пока разрабатывались планы вторжения в Сибирь, первоначальная цель устарела, а вскоре и вовсе почти забылась.

Может быть, и к лучшему. Политические преграды японской (или, главным образом, японской) экспедиции через Сибирь на борьбу с немцами с самого начала признавались труднопреодолимыми, но по меньшей мере западные союзники уделяли им внимание. Того же нельзя сказать о военных проблемах — в принципе неразрешимых. Ближайшие германские войска находились примерно в 11 300 километрах от Владивостока. Армия, перебрасываемая туда из Японии, всецело зависела бы от Транссибирской магистрали. Состояние этой железной дороги, давно уже плачевное, постоянно ухудшалось. Даже при условии хорошего отношения к японцам со стороны железнодорожных служащих и русского населения Сибири в целом (а имелись все причины предполагать обратное), через один-единственный порт совершенно невозможно было осуществить переправу в Европейскую Россию, не говоря уж о том, чтобы содержать там нечто большее, чем чисто символический военный контингент.

Японцам это было совершенно очевидно; на всех этапах они ясно давали понять, что если и отправятся в Сибирь, то ни шагу не ступят западнее озера Байкал¹¹. Это прекрасно понимали и американцы, чье здравомыслие не затуманивалось отчаянием. Остается загадкой, как французское и британское правительства и их военные советники сохраняли веру в столь откровенно нереальный проект.

¹¹ В июне японский Генеральный штаб рассчитал, что понадобилось бы целых три года, чтобы переправить адекватный военный контингент хотя бы в Челябинск, от которого до самых глубоко продвинувшихся в Россию немецких передовых отрядов в 1918 г. оставалось около 1600 километров.

Подобные загадки случались на протяжении всей истории интервенции. Часто встречаются свидетельства высокопоставленных офицеров Антанты, в которых серьезно доказывается невозможность и гибельность попыток осуществления различных рискованных операций, но, по общему признанию, ни одна из них не была столь авантюрной, сколь упомянутая выше. Например, в начале января 1918 года французское правительство — в связи с неподтвержденным известием об убийстве большевиками своего консула в Иркутске — предложило немедленно организовать карательную экспедицию из Тяньцзиня, где со времен «боксерского» восстания размещались части, предоставлявшие охранников для дипломатических миссий в Пекине. Это соединение, состоявшее из французского, британского, американского, японского и китайского контингентов под командованием французского морского офицера, по замыслу французского правительства, должно было проследовать в Иркутск (расстояние приблизительно 3200 километров), отомстить за убийство консула, а заодно и предотвратить вывоз военного имущества из Владивостока по Транссибирской магистрали.

Сие нелепое предложение, вполне вероятно, родилось в голове министра иностранных дел Франции Пишона, который в 1901 году возглавлял французское представительство во время осады дипломатического квартала участниками «боксерского» восстания, и, видимо, с тех пор он питал слабость к международным спасательным экспедициям. Вот лишь один из множества примеров, когда трудно понять, как попадали в повестку дня Антанты очевидно беспочвенные военные планы (этот был похоронен пришедшей в Лондон информацией о том, что французский консул жив).

Возможно, ответ заключается в том, что, хотя мировая война шла уже четвертый год, большинство сухопутных операций перешло в позиционную стадию; уроки, полученные на Западном фронте, повлияли на мышление профессиональных военных если и не окончательно заостреннее, то и не вполне приспособленное для разработки динамичных военных операций на бескрайних просторах России. Нельзя отрицать тот факт, что самые нереалистичные планы разрабатывали за пределами России люди, почти незнакомые с ее условиями, однако это не оправдывает легкомысленного пренебрежения элементарной логикой, что было главной отличительной чертой их планов. К сопоставимому этапу Второй мировой войны штабные офицеры накопили более прогрессивный опыт, и подобное дилетантство было бы немислимым¹².

¹² Летом 1919 г. маленький британский отряд, базировавшийся в Архангельске, начал наступление вверх по Северной Двине с целью захватить город Котлас, расположенный приблизительно в 500 километрах от Архангельска. Уровень воды в реке был необычайно низким, и операция, не грозившую никакими осложнениями, пришлось отменить, поскольку военная флотилия, на которую возлагались перевозки и артиллерийская поддержка, не смогла продвигаться вслед за войсками. Застряла флотилия в 240 километрах от Котласа.

Бои второстепенного значения

Ни один из мертворожденных планов, представленных выше, не казался сомнительным на стадии замысла. Оба составляли часть антигерманской стратегии. Первый невозможно было осуществить без активного сотрудничества советского правительства, а ко второму неразумно было приступать без хотя бы молчаливого его согласия. Только один план интервенции, начавший обретать явственные очертания в первой половине 1918 года, имел подобную поддержку. Речь идет о создании британцами — по приглашению местных советских властей и исключительно для оборонительных целей — небольшого плацдарма, скорее даже опорной точки, в Мурманске.

Прошло не так уж много месяцев, как первоначальный характер этого замысла полностью изменился. Маленький плацдарм превратился в большой — горстку британских матросов и морских пехотинцев сменил значительный отряд экспедиционных сил Антанты, а цель всей операции превратилась из антигерманской и оборонительной в антибольшевистскую и наступательную. Однако здесь мы уже затрагиваем источники интервенции, начавшейся именно в Северной России.

Архангельск был единственным значительным российским портом на побережье Арктики, и, когда германский военный флот в начале войны блокировал Балтийское море, важность его возросла неизмеримо. Однако подходы к Архангельску шесть месяцев в году, а иногда и дольше скованы льдом. Поэтому были предприняты шаги к развитию вспомогательного порта в Мурманске неподалеку от финской и норвежской границ. Хотя Мурманск расположен гораздо севернее Архангельска, он стоит на берегу Кольского залива, который благодаря Гольфстриму не замерзает всю зиму. Довольно примитивный, но вполне пригодный к эксплуатации порт был открыт в начале 1917 года.

Военно-морские силы Великобритании приняли на себя большую часть обязанностей по конвоированию кораблей, тралению мин и так далее на морских дорогах к Архангельску, и зимой 1917 года в Мурманске встала небольшая эскадра под командованием адмирала Кемпа, поднявшего свой флаг на старом линкоре «Глори». С Петроградом и Архангельском Мурманск связывали ненадежные, наскоро построенные из привезенных из Англии рельсов железные дороги, так что, по сути, он был труднодостижим. Но когда сорвались мирные переговоры в Брест-Литовске и немцы в середине февраля 1918 года возобновили наступление, возникли необоснованные, но вполне понятные страхи, что целью их является Мурманск, которому (на бумаге) могли угрожать руководимые или вдохновляемые немцами финские войска. Поскольку Финляндия объявила о своей независимости от России, разразилась Гражданская война, и Германия поддержала белофин-

нов под командованием Маннергейма против их пробольшевистских соотечественников.

Нет необходимости описывать все события, произошедшие или повлиявшие на сложившуюся в Мурманске ситуацию. Самое главное заключается в том, что 6 марта, по просьбе мурманских Советов, адмирал Кемп высадил на берег маленький десантный отряд; на следующий день для усиления эскадры прибыл британский крейсер, и предполагаемая германская угроза Мурманску запустила процесс, в результате которого был захвачен Архангельск (где, как и во Владивостоке, находились склады ценных военных материалов), и в конце концов на Севере России сложился антибольшевистский фронт, не похожий на все остальные. Здесь сражались не белогвардейские войска, пользовавшиеся финансовой, технической и моральной поддержкой Антанты, а войска Британии, США, Франции и других стран западных союзников под британским командованием, причем белые русские выступали как все более ненадежные помощники¹³.

Архангельско-Мурманскому анклаву предстояло оказать мощное, хотя и косвенное влияние на стратегию (или на то, что называли стратегией) в Сибири. То же самое суждено было и его эквиваленту в Южной России, где надежды Антанты на лояльный бастион постепенно оправдывались. Начав с весьма скромных успехов, так называемая Добровольческая армия в шатком союзе со свободолюбивыми кубанскими казаками в жестоких сражениях добилась убедительного превосходства над безграмотно руководимой Красной армией. Хотя в упоминаемый нами период — в середине лета 1918 года — исход этой запутанной борьбы все еще оставался неясным, был заложен фундамент антибольшевистского плацдарма, большего — и гораздо более стихийного, — чем тот, что одновременно создавался на Севере.

Добровольческую армию под командованием Деникина — ее первый лидер Алексеев умер в октябре 1918 года — не занимало, разве что между прочим и на ранних этапах, сопротивление немцам. Ее целью было свержение советской власти и создание «великой единой неделимой России». Пока турки не признали поражение в октябре, открыв этим Черное море своим победителям, желание Антанты помогать Белому движению выражалось лишь в финансовой и моральной поддержке, поэтому интервенция в Южной России, всерьез начавшаяся в последние недели войны, не могла — без значительной натяжки — называться вкладом в поражение Германии.

Вторжение в Южную Россию (и более поздние события в Прибалтике) было «открытой» интервенцией, хотя не столько политическим, сколько ответным действием. По заявлению Чемберлена, интервенция носила «как

¹³ В 1920 г. белогвардейские войска, которым в разное время командующие войсками Антанты официально присваивали много высокопарных эпитетов, появились в отчетах Военного министерства о состоящих на довольствии войсках как «местные».

оборонительный, так и наступательный характер. Если она не могла привести к крушению большевизма в России, то по меньшей мере настолько полно занимала большевиков на различных фронтах Гражданской войны, что распространение воинственной большевистской доктрины за границы России становилось менее вероятным»¹⁴.

Далее к востоку в сентябре 1918 года турки выбили из Баку отряд генерала Денстервила. Но Каспийское море контролировала флотилия импровизированных канонерок с русскими экипажами под командованием британских офицеров. В закаспийских пустынях маленький индо-британский отряд генерала Маллесона до весны 1919 года оставался главной опорой дряхлого антибольшевистского режима с центром в Ашхабаде. Однако эти авантюры замышлялись «не как антибольшевистские, а ради предотвращения распространения немецкого оружия и немецкого влияния в России, в Закаспийском же регионе — через Россию в Британскую Азию». Даже самые склонные к утопиям стратеги никогда не считали, что хотя бы одна из этих опасных затей имеет отношение к сибирской интервенции.

С другой стороны, Северный и Южный фронты — то есть Архангельско-Мурманский плацдарм и гораздо большая территория, контролируемая Деникиным, — сильно повлияли не на то, что случилось в Сибири, а на то, что, как надеялись лидеры, особенно находившиеся в Лондоне, могло там случиться. Одного взгляда на карту № 1 достаточно, чтобы увидеть, насколько соблазнительна (и до некоторой степени правдоподобна) картина наступления на Москву с трех сторон. Тем, кто не сталкивался с реалиями местного хаоса, могла даже померещиться возможность воткнуть четвертый кинжал в спину Петрограду из балтийских провинций.

Таким образом, пришло шахматное решение русской проблемы, и много было разговоров о трех зубах, направленных на Москву и кольцом сомкнувшихся вокруг нее. На карте все выглядело так логично. Административные трудности осуществления связи между тремя главными армиями вторжения — огромные расстояния, ветхость и уязвимость однокорейных железных дорог, непроходимость всех дорог во время весенней оттепели — не просто недооценивали, на них вообще не обращали внимания. Убежденность в том, что именно белые начнут переброску войск — либо окажут помощь в полудюжине других операций, — зародившаяся к началу 1919 года, повлияла на мнение многих влиятельных политиков — особенно Уинстона Черчилля — и господствовала до тех пор, пока даже на карте все это потеряло всякий смысл.

¹⁴ Здесь главной целью британской политики было содействие делу эстонской, латвийской и литовской независимости. Однако эта цель, альтруистская сама по себе, не могла быть достигнута без нанесения урона советским интересам, и Москва, естественно, рассматривала британскую деятельность в этом регионе как в первую очередь антибольшевистскую.

Глава 4

Насколько мы знаем, не сохранилось никаких свидетельств того, как британский Генеральный штаб намеревался использовать Колчака в Месопотамии. Также неясно, с какой целью его отозвали из Сингапура в Маньчжурию, однако, не боясь ошибиться, можно предположить, что к внезапному изменению плана косвенно подтолкнул двадцативосьмилетний есаул Григорий Семенов.

Этот странный и ужасный человек, сын русского и бурятки, безупречно служил в Польше, Белоруссии и в Карпатах. Генерал Врангель, прекрасно разбиравшийся в кавалеристах, назвал его «образцовым офицером, особенно любившим проявить свою храбрость перед старшим по званию». Семенов имел много военных орденов и медалей. Миссия в Персию, не сулившая особых наград, подарила ему досуг для составления плана по рекрутированию новобранцев из бурятов. В кризисное лето 1917 года его направили в Петроград для представления этого проекта, и он получил приказ к действию. Удивительный факт, поскольку, даже если бы удалось набрать из бурят целый армейский корпус, это не решило бы ни одной проблемы Временного правительства.

Когда в ноябре 1917 года большевики захватили власть в Сибири, Семенов находился в Забайкалье, так и не продвинувшись в осуществлении своего плана. Он избежал ареста, использовал все возможности, чтобы создать как можно больше неприятностей новому слабому режиму, и в конце концов в последние дни 1917 года перешел китайскую границу. Среди многочисленных его соратников был барон Унгерн фон Штернберг, хорунжий нерчинских казаков. Угрюмый, рыжеволосый, бледнолицый головорез впоследствии прославится своей садистской жестокостью, которую сумели превзойти лишь немногие из его конкурентов по обе стороны фронтов Гражданской войны. Впоследствии Семенов признавал, что в своей военно-административной деятельности барон часто пользовался методами, обычно осуждаемыми критикой. Однако объяснял это ненормальными условиями, в которых им постоянно приходилось действовать. Редко столь страшные деяния оправдывались более мягкими словами.

В Манчули, местечке в Маньчжурии, затерявшемся прямо рядом с границей, Транссибирская магистраль соединялась с контролируемой русскими Китайско-Восточной железной дорогой, которая являлась кратчайшим путем до Владивостока. Здесь с помощью наглости и обмана Семенов впервые запугал, а затем обезоружил пробольшевистски настроенный гарнизон, со-

гнал всех безоруженных в поезд и отправил на территорию России. Вслед за ними в вагоне для перевозки скота последовали предварительно избитые члены местных Советов. Этими решительными и внезапными действиями Семенов обеспечил себя базой, важность коей ничуть не умалялась тем, что находилась она на иностранной территории вне юрисдикции России. Он тут же приступил к комплектованию маленького, пестрого по составу войска и в январе 1918 года во главе отряда из приблизительно 600 человек (400 из которых были монголами и китайцами) начал наступление в Забайкалье.

Части Красной армии, расквартированные в редких заброшенных поселениях вдоль восточной оконечности Транссибирской магистрали, мало что представляли в военном отношении и не испытывали особого желания сражаться. Семеновские прохвосты (как вскоре их стали называть в британском МИДе) продвигались быстро и уже почти добрались до важного железнодорожного узла Карымское, как были наголову разбиты отрядом (в нем были и весьма пригодившиеся военнопленные венгры) под предводительством Лазо, талантливого партизанского лидера, жизнь которого оборвалась два года спустя, когда японцы захватили его и передали белым, а те заживо сожгли его в паровозной топке.

Сам Семенов выпутался без серьезных потерь и снова затаился в Манчули. Эта незначительная вылазка, занявшая десять дней, возбудила нездоровый интерес в Британии и Франции. Неужели красавчик рубака превратит русскую зиму разочарований в триумфальное лето? Поскольку все на это искренне надеялись, никому и в голову не приходило недооценивать потенциальные возможности Семенова.

Семенов произвел «чрезвычайно благоприятное впечатление» на капитана Р. Б. Денни, помощника британского военного атташе в Пекине, спешно откомандированного в Манчули. Семеновская армия теперь насчитывала 750 человек: 180 русских офицеров и кадетов, 270 казаков и 300 монголов; вскоре к ним присоединилось 300 военнопленных сербов. Денни чувствовал, что Семенов заслуживает серьезного отношения. Британское правительство независимо пришло к такому же выводу задолго до того, как рапорт Денни достиг Лондона. В первые дни февраля Семенов получил 10 тысяч фунтов стерлингов и обещание получать такую же сумму ежемесячно без всяких условий вплоть до особого уведомления. Выплаты осуществлялись через британское консульство в Харбине.

Французы, проинформированные о выплате, также начали субсидировать Семенова, а японцы — кроме денег — предоставили оружие, боеприпасы и «добровольцев». «Добровольцы», прибывшие в Манчули в гражданской одежде, не только пополнили расчеты полевых пушек Семенова, но и составили цвет его пехоты. (Большинство «добровольцев» — если не все — были резервистами, и вовсе не самыми лучшими. Из первых 400, присоединив-

шихся к Семенову, 100 человек пришлось отправить домой за участие в пьяных драках и за другие нарушения дисциплины.) Япония, единственная из трех благодетелей Семенова, в некоторой степени контролировала его действия: к его штабу на постоянной основе был прикомандирован энергичный офицер капитан Куроки, и влияние Японии было столь велико, что, по сути, Семенов был ее марионеткой.

В первые недели 1918 года атаман олицетворял желанное чудо — этим можно объяснить ту поразительную поспешность, с которой три иностранных правительства поспешили поддержать его. Однако была одна сила, от которой Семенов имел полное право ожидать поддержки, какой бы хрупкой ни была возлагаемая на него надежда, и от которой он — за исключением скупой финансовой помощи — ничего не получил. В Харбине, менее чем в 650 километрах от Манчули, находилось очень много русских. Большая русская община, руководимая почтенным генералом Д. Л. Хорватом, пополнилась людьми, успевшими выбраться из России. Многие из них были офицерами. Мало кто искал в побеге спасения или же дальних путешествий. Большинство бросились во временную (как почти все они искренне верили) ссылку, рассчитывая на шанс нанести ответный удар по ненавистному режиму, и в своем поведении подчинялись именно этому расчету.

В переполненных холлах и залах отеля «Модерн» звенели шпоры, проносились патриотические тосты, на глаза наворачивались слезы. Знатки анализировали слухи, мошенники плели интриги, спекулянты наживали состояния, офицеры чистили эфесы и салютовали при встрече, дамам целовали ручки. Однако, за исключением немногих подозрительных и достойных жалости авантюристов, никто не покинул сцену, на которой разыгрывался сей военно-патриотический спектакль и не сел в поезд, направляющийся в Манчули.

В Лондоне вряд ли могли предвидеть неспособность Семенова привлечь соотечественников к своему делу, а потому довольно долго не замечали происходящего. Все русские, которых или о которых кто-либо знал, постоянно говорили о необходимости бороться с большевиками, и, поскольку Семенов был единственным русским — во всяком случае, единственным на Дальнем Востоке, — кто действительно это делал, подразумевалось, что он представляет некое «национальное движение». Какое заблуждение! Семенов не представлял никого кроме самого себя. Но это было вполне естественное заблуждение, и британцы продолжали, правда, все более и более неохотно, его поддерживать. За пару дней до того, как начальник военной разведки послал телеграмму с предписанием перехватить Колчака в Сингапуре, британского министра в Пекине уполномочили предоставить Семенову две 5-дюймовые гаубицы со склада охраны дипломатических представительств в Тяньцзине. Эти древние орудия, «тайно» отправленные по железной доро-

ге, несколько дней продержали в Мукдене, пока японское железнодорожное начальство не получило приличную взятку.

Поначалу британцы считали Семенова (выражаясь языком конских скачек) самодовольным аутсайдером. Но в начале февраля министр иностранных дел Бальфур предложил американскому правительству через полковника Хауса, личного советника президента Вильсона, «поставить на Семенова», поскольку «невероятно важно поддерживать любое истинно русское движение в Сибири». Вряд ли слова «истинно русское движение» можно было отнести к собравшейся в Манчули ватаге бывших китайских бандитов, монгольских угонщиков скота, японских наемников, сербских военнопленных и казаков-авантюристов. Вашингтон отверг британскую идею из принципиальных соображений, хотя, как и Бальфур, об истинном положении дел и не подозревал. Америка все еще категорически выступала против вторжения в Сибирь, главным образом потому, что подобная политика, какую бы форму она ни приняла, обеспечила бы Японии доступ на континент.

Если Семенов не казался ценным приобретением Вашингтону, то в Москве, где Локкарт изо всех сил старался создать условия для привлечения Советской России к войне против Германии, разумеется, при поддержке союзников, атаман определенно представлял помеху. Главной целью британской политики того периода было вовлечение России в войну, чему никоим образом не способствовала финансовая и материальная помощь Британии явно контрреволюционному движению. Как отмечал Кеннан, «поддержка Семенова Францией и Британией была одной из основных причин, по которым Советы не доверяли странам Антанты».

Слишком поздно осознав, что его правая рука не ведает о деяниях левой, британское правительство попыталось обуздать Семенова, но безуспешно. Британцы не хотели прекращать субсидирование атамана, так как боялись уступить Франции и Японии влияние, которое, как они наивно полагали, обеспечивалось их ежемесячными денежными вливаниями. И все же в апреле капитан Денни получил приказ категорически предостеречь Семенова против вторжения на территорию России и запретить поддержку любого наступления, если таковое начнется. Денни должным образом передал предостережение, единственным результатом коего, как легко можно было предвидеть, стало то, что всем в Манчули стало еще труднее воспринимать Британию всерьез.

Нелепая ситуация, в которой Япония и Франция платили Семенову за то, чтобы он сражался с большевиками, а Британия платила ему за то, чтобы он с ними не воевал, в значительной степени отрегулировалась в мае, когда развеялись надежды Британии достичь рабочего соглашения с советским правительством, но к тому времени развеялся и образ Семенова как национального освободителя. Все очевиднее становилось, что красавчик рубака —

попросту бандит и в этом роде — монстр. Не только рядовые его маленького отряда, но и ближайшие сподвижники привычно совершали неопишумые зверства. На всех территориях, которые он контролировал, царило чудовищное взяточничество. О справедливости и милосердии и речи не было. Семенов не только компрометировал своих спонсоров, но и служил орудием проведения самой неприглядной политики Японии в Сибири. К середине 1918 года он перестал быть обузой для британских налогоплательщиков.

Со своей «огромной головой, величина которой подчеркивалась плоским монгольским лицом со светлыми сверкающими глазами, принадлежащими скорее животному, чем человеку», с наполеоновским зачесом и смутными захватническими стремлениями, Семенов был неординарной фигурой, неким Хитклифом степей¹⁵. Его деяния были отвратительными, мотивы — первобытными, поведение — вызывающе циничным, однако каким-то непостижимым образом ему всегда удавалось производить хорошее впечатление. В апреле 1918 года, еще до того, как его порочность раскрылась во всей глубине, опытный британский офицер охарактеризовал его как «исключительно бескорыстного патриота». Почти два года спустя британский верховный комиссар в Сибири Майлз Лэмпсон, признавая справедливость жесточайшей критики режима Семенова, верил, что сам атаман «абсолютно честен».

Центральной фигурой распутного окружения Семенова, которым он, по одному из свидетельств, правил в «атмосфере лени, бахвальства, пьянства, прибыльных реквизиций, грязных денег и убийств невиновных», была его любовница, Маша Шарабан, еврейская вдова русского купца. Молодой британский офицер, видевший Машу у постели Семенова (атаман был ранен при взрыве бомбы в театре Читы), назвал ее «очень хорошенькой женщиной с огромными черными глазами». Семенов был искренне предан ей. В свои посещения Харбина, неизменно отмеченные буйством и скандалами, Маша щеголяла богатыми нарядами и сверкала бриллиантами, а количество денег, которые атаман на нее тратил, вызывало завистливую критику даже со стороны его собственных офицеров.

Жена Семенова в то время жила в Японии. Один американский офицер, видевший ее там, отзывался о ней как о «поразительно красивой, обворожительной блондинке и смелой искательнице приключений». Поговаривали, что она обладала «несметным состоянием». В сентябре 1919 года она должна была присоединиться к мужу, отправившемуся с большой свитой в Мукден, где он надеялся улучшить напряженные отношения с местным военачальником Чжан Цзолинем. Британский консул так обрисовал конец визита

¹⁵ Хитклиф, в романе Э. Бронте «Грозовой перевал», — найденыш, воспитанный в дворянской семье. Разбогатец, мстит детям своего воспитателя, которые в прошлом унижали его. (Примеч. пер.)

Семенова: «Весьма романтичный эпизод приключился, когда атаман покинул отель, направляясь на железнодорожный вокзал. Женщина, по слухам, известная цыганка, с которой атаман некоторое время состоял в интимной связи и покинутая им по приезде на Дальний Восток его жены, неожиданно подбежала к нему, выкрикивая упреки, проглотила яд и тут же упала. Ее увезли в японский госпиталь, и, кажется, она выжила».

Маша не только выжила, но вскоре восстановила свой прежний статус. Короткое упоминание о ней мы встречаем в январе 1920 года в отчете британского офицера связи в Чите: «Я ужинал с Семеновым и его свитой. Любовница, как обычно, выпила слишком много. Она вела себя столь неблагоразумно, что спела еврейскую песню на идиш, обнаружив, насколько я могу судить, свободное владение этим языком». Замечание о «неблагоразумии» — напоминание о сильных антисемитских настроениях, господствовавших в реакционных белых кругах. Отсутствие крупных еврейских прогромов в длинном списке преступлений Семенова, несомненно, объясняется влиянием Маши.

Когда в середине апреля 1918 года Колчак явился к русскому послу в Пекине, они немедленно приступили к обсуждению деятельности Семенова. Князь Кудашев объяснил, что этот маленький отряд, получающий оружие и деньги от японцев, «пока особого успеха не имеет», однако есть надежда на приток добровольцев и «возможно, несколько позже отряд превратится в крупное вооруженное соединение». Обязанности, возлагаемые на Колчака, не были напрямую связаны с военными операциями Семенова. Адмиралу предстояло стать «военным представителем» (то есть представителем российского Генерального штаба) в воссозданном правлении Китайско-Восточной железной дороги. Однако «конечно, вам придется войти с Семеновым в компромисс, — подчеркнул Кудашев. — Мне бы хотелось, чтобы вы взяли заведование суммами, которые распределяются хаотически, — нужно, чтобы эти деньги шли через определенные руки, через вас».

Через день или два из Харбина прибыл генерал Хорват, учтивый и довольно хитрый человек, с длинной седой раздвоенной бородой, главный управляющий Китайско-Восточной железной дороги с 1903 года. С ним приехали промышленник Путилов и несколько важных представителей Русско-Азиатского банка, владевшего большинством акций железной дороги. Отчет о последовавшей встрече есть в «Показаниях» Колчака. По его свидетельству, речь шла лишь о реорганизации Китайско-Восточной железной дороги и восстановлении порядка в ее районе. По информации из других источников, обсуждаемые вопросы этим не исчерпывались.

Колчак в те дни получил зашифрованную телеграмму от русского посла в Вашингтоне с грифом «Лично и абсолютно конфиденциально». Бахметев телеграфировал, что вскоре состоится предварительное совещание ряда ока-

завшихся за границей российских политических деятелей. На совещании будут обсуждаться возможности организации Политического центра, который мог бы принять неотложные меры, необходимые для национального возрождения России. Посол считал присутствие Колчака совершенно необходимым и настоятельно просил его прибыть в Америку — хотя бы ненадолго и при этом в полной тайне.

Ответ, отправленный из Пекина 18 апреля, доказывает, что Колчак все-речь воспринял проект, якобы связанный с экономикой железной дороги в Маньчжурии, и был готов им заняться. Он писал, что по приглашению Путилова и в соответствии с пожеланиями британского правительства, вошел в правление Китайско-Восточной железной дороги, деятельность которого косвенно, но вполне реально направлена на достижение общей цели — организации Политического центра возрождения России. Далее адмирал сожалел о том, что не может прибыть в Америку.

Есть указание на то, что пекинская телеграмма подразумевала дела более важные, чем интересы акционеров. Насколько известно, ни один из представителей Антанты не присутствовал на совещаниях Кудашева, Хорвата и Колчака, но 30 апреля они явились к британскому послу сэру Джону Джордану с амбициозным планом освобождения части Сибири — от Иркутска на западе до Владивостока — русским войсковым 17-тысячным соединением, базирующимся на Китайско-Восточной железной дороге (даты определены не были). Сэр Джон доложил о плане в Лондон. Отсутствие дальнейших упоминаний вовсе не означает, что план казался нереальным его инициаторам.

После этой встречи, на следующий же день, Колчак покинул Харбин вместе с Хорватом в личном вагоне последнего. Официальное сообщение о его назначении главнокомандующим русскими войсками в зоне железной дороги появилось в газетах еще 26 апреля. Колчак по природе своей был замкнутым и любил одиночество. Несколько месяцев спустя не одаренному богатым воображением британскому офицеру, впервые его увидевшему, он показался «маленьким, одиноким, беспокойным скитальцем, не имевшим ни одного друга». Адмирал легко раздражался, однако, когда не гневался, производил впечатление человека гордого, холодного, преданного своему делу, загадочного и несколько равнодушного. Даже в конце жизни, когда смерть день за днем смотрела на него из-за спин следователей, его броня из холодности и равнодушия не дала ни единой самой маленькой трещинки.

Пока поезд мчался на север через кукурузные и маковые поля, раскинувшиеся за Великой Китайской стеной, Колчак писал письмо женщине — набросанный карандашом черновик нашли в его личных бумагах. В черновике нет имени женщины, но практически нет сомнений в том, кому оно адресовалось. Колчак пишет, что вагон, в котором он едет, напоминает ему

тот, в котором он год назад в последний раз ехал как командующий Черноморским флотом — из Севастополя в Петроград. Тогда ему невыносимо горько и больно было сознавать, что война проиграна. Он ясно вспоминает теперь свое близкое к отчаянию состояние и даже название книги, которую пытался читать, но не мог понять прочитанного, — *«Наука управления государством»*.

Здесь Колчак непреднамеренно раскрывает свои чувства. Мы даже не знаем, было ли это письмо закончено и отправлено, не говоря уж о том, получено ли. Однако очевидно, что женщина, которой письмо адресовалось, была важна Колчаку по меньшей мере год, и можно с большой уверенностью предположить, что именно о ней примерно через двадцать месяцев в иркутской тюрьме председатель Чрезвычайной следственной комиссии спросит пленника: «Здесь добровольно пошла под арест госпожа Тимирева. Какое она имеет отношение к вам?»

На что Колчак ответил: «Она — моя давнишняя хорошая знакомая... Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною».

Глава 5

В апреле 1917 года германское правительство предоставило Ленину, находившемуся тогда в ссылке в Швейцарии, возможность проезда через свою территорию. С тридцатью одним соратником Ленин вернулся в Россию. Через Германию до Швеции они ехали в специальном поезде, но не «опечатанном», как гласит легенда, правда, путешественникам пришлось терпеть ограничения, одним из которых, к великому неудобству русских, был запрет на курение. Уилер-Беннетт отмечает: «Предположение о том, что, путешествуя через Германию в Россию, Ленин действовал как немецкий агент, смехотворно». И хотя на самом деле Ленин не был орудием в руках немцев — скорее наоборот, — в странах Антанты этот вывод считали совершенно очевидным.

Путешествие Ленина было фактом. Документы, подтверждающие сей факт и отражающие его неправильные толкования, а также некоторые фальсификации, появились в Петрограде и в начале 1918 года были куплены мелким американским чиновником.

Это было единственным свидетельством того, что Германия организовала большевистскую революцию, однако заблуждение твердо обосновалось в голове союзников. По выражению Кеннана, «немцы, в их глазах, были единственным источником всех зол; все плохое немедленно приписывалось Германии».

Широко распространилось мнение — по сути своей невероятное — о том, что большевики не только финансировались, но и в значительной степени контролировались Берлином¹⁶.

Одно из горчичных следствий этой теории касалось немецких, австро-венгерских и других военнопленных, захваченных русскими. Из приблизительно полутора миллионов¹⁷, не считая турок, немцы составляли лишь десять процентов. Половина или чуть больше военнопленных находилась в Сибири. В марте 1918 года после ратификации Брестского мира пленные, многие из которых уже довольно широко пользовались личной свободой, формально вообще потеряли статус военнопленных, однако из-за хаоса на русских железных дорогах их репатриация, в лучшем случае, была медленным процессом. Появились доклады о том, что эти огромные массы брошенной на произвол судьбы солдатни получают или сами достают оружие. В скором времени военнопленные стали стратегическим пугалом.

Так никогда и не выяснилось, как именно, по мнению Антанты, они могли навредить ее делу. Достаточно было того, что о них думали как о немцах, и, хотя подавляющее их большинство вовсе таковыми не являлось, фантастическая теория большевистско-германского заговора становилась все более грозной и загадочной. Британцы боялись, что застрывшие в Туркестане станут ядром военного контингента, угрожающего Индии. В газетном интервью 23 апреля 1918 года французский посол в России говорил о немцах, «пытающихся организовать колониальные центры в Сибири». Также не исключалась возможность использования военнопленных для переправки ценных военных материалов в Германию. И наконец, появлялись сообщения об их вербовке в Красную армию.

Для этих сообщений действительно имелись некоторые основания, однако в большинстве случаев опасения Антанты в отношении пленных были на удивление нереалистичными, ибо политики совершенно игнорировали человеческий фактор и снова смотрели на ситуацию с точки зрения шахматистов. Здесь, здесь и здесь (говорили эти стратеги) скопилось так много сотен тысяч вражеских солдат, что сдерживать их далее невозможно. Они — сметенные с доски пешки, которых, как это ни прискорбно, вернули в игру. Как противник передислоцирует их?

На этот вопрос стоило бы отвечать лишь в том случае, если бы люди не были подвержены ностальгии, болезням, недоеданию и деморализации.

¹⁶ Как ни странно, подобное заблуждение господствовало и во влиятельных германских кругах. «Русскую революцию организовала Англия» [*Хоффман Макс*. Война упущенных возможностей].

¹⁷ Истинные цифры могут быть гораздо выше. Один достоверный источник только по австрийским военнопленным приводит следующие данные: взято в плен 2 111 146; умерло от ран 150 000; умерло от голода, болезней и по другим причинам 530 000; убито 30 000; погибло во время Гражданской войны 11 000 [*Крист Густав*. Военнопленные в закрытой стране].

Здравый смысл должен был подсказать стратегам Антанты, что военнопленные, в большинстве своем свыше трех лет содержавшиеся в тяжелых условиях и принадлежавшие к полудюжине враждебных национальностей — причем офицеры были изолированы от рядовых, — могли быть в российской ситуации не более чем ничтожным фактором. Однако здравый смысл едва ли был главной составляющей стратегии интервенции. Все продолжали доверять множившимся сообщениям о том, что военнопленные, несмотря ни на что, представляют серьезную угрозу. Типичный пример — заявление помощника британского военного атташе в Пекине 3 июля 1918 года: «Нет никаких сомнений в том, что в Забайкалье огромными темпами возрастает влияние Германии».

И это заявление, и многие ему подобные были вздором, хотя советские власти действительно делали все возможное, дабы заставить военнопленных отказаться от службы их родным странам и вступить в Красную армию. Вначале это происходило в значительной мере по идеологическим мотивам. Большевизм проходил наивную, почти сентиментальную фазу ожидания в ближайшем будущем мировой революции. Военнопленным представлялся шанс стать «интернационалистами» — как называли тех, кто поддавался пропаганде, — на основополагающем этапе. Позже, когда Троцкий взялся за реорганизацию Красной армии, необходимость в рекрутах, особенно в уже тренированных солдатах, заставила обратить особое внимание на военнопленных. С самого начала количество добровольцев оказалось неутешительно малым, но эта преграда могла быть и была преодолена предоставлением привилегий, включая иногда усиленное питание для тех, кто вступал в Красную армию добровольно. Такими практичными методами удалось сколотить значительное войско на бумаге, однако и оно составляло лишь около пяти-шести процентов общего числа военнопленных. Мало кто из «интернационалистов» имел оружие, к тому же им — за исключением одного или двух случаев — не разрешалось формировать собственные отряды; их распыляли по русским воинским частям.

В марте Локкарт, считавший страх перед военнопленными необоснованным, но совершенно замученный «раздраженными» телеграммами из министерства иностранных дел, поднял этот вопрос в беседе с Троцким. Троцкий заявил, что бесполезно что-либо опровергать, пусть, мол, союзники сами поедут и посмотрят. В ту же ночь капитан Хикс, один из немногих сотрудников Локкарта, и майор Уэбстер из американского Красного Креста специальным поездом покинули Москву. Оба наблюдателя шесть недель провели в Сибири, где некоторое время работали вместе с американским военным атташе из Пекина, проводившим аналогичное расследование.

Их доклады, особенно доклад Уэбстера — Хикса, были утешительными за исключением одного факта: некоторое количество венгров как раз на-

правлялось на борьбу с Семеновым. Наблюдатели не видели сами и не слышали ничего о военнопленных, вооруженных для выполнения военных задач, хотя в лагерях караульные имели винтовки для отпугивания воров. «Мы можем лишь добавить, — отмечалось в докладе, — что, увидев этих вооруженных военнопленных и познакомившись с их составом и настроениями, мы пришли к выводу, что они не представляют угрозы для стран Тройственного соглашения».

Выводы наблюдателей несколько не ослабили тревогу в Лондоне и Вашингтоне, где, похоже, на доклад Хикса — Уэбстера не обратили никакого внимания. Их беспристрастность подвергнули сомнению, поскольку их начальники Локкарт и Рэймонд Робинс считались в обеих столицах слишком благосклонно настроенными к Советам, да и сам доклад не производил впечатление абсолютно объективного. Хикс и Уэбстер находили всех встречавшихся на их пути советских чиновников «искренними и умными людьми... скромными и, по всей видимости, не планирующими мстить за прошлые обиды». В министерстве иностранных дел сочли, что поверившие в это могли поверить во все, что угодно, и доклад, в основном точный, несколько не поколебал официальную веру в грозных военнопленных.

Против кампании по вербовке «интернационалистов», наиболее оживленной с середины марта по конец мая, больше всех протестовали пленные офицеры. Яростные протесты выражали и правительства центральноевропейских держав (противников Антанты во время Первой мировой войны. — *Примеч. пер.*), чьей единственной целью (в противоположность убеждениям союзных держав) было скорейшее возвращение домой их полугодных подданных. Вербовку прекратили, а «интернационалистов» освободили от службы большевикам в мае — июне, когда в Россию начали прибывать немецкие и австрийские комиссии по репатриации. Однако принятые меры не удержали правительства союзных держав от продолжения разговоров, а в конечном счете и действий, как если бы на огромных неизведанных пространствах России действительно концентрировались многочисленные вражеские войска. 1 сентября 1918 года — по меньшей мере через два месяца после того, как последний ошеломленный венгр вернул свою устаревшую берданку на интендантский склад — британский премьер-министр поздравлял доктора Масарика с «потрясающими победами чехословацких войск, одержанными над немецкими и австрийскими армиями в Сибири».

Доктор Бенеш, главный сотрудник Масарика, командовал парижским штабом Чехословацкого национального совета и часто посещал Лондон. Как он отмечал впоследствии, никто ни в одной из столиц не придавал ни малейшего значения челябинскому инциденту. Разразившаяся в результате него борьба, закончившаяся тем, что чехи захватили власть над ключевыми городами Урала и Сибири, поначалу считалась событием исключительно

местного значения. Французы сожалели о том, что теперь продвижение чехов к Владивостоку и Архангельску может быть отложено на неопределенный срок. «Я каждый день видел, — пишет Бенеш, — доказательства того, что Франция противится вовлечению нашей армии в войну в Сибири и считает важной ее передислокацию на Западный фронт». Горстка французских офицеров связи с легионом, очень далеких от тех *провокаторов* интервенции, какими их описывают советские историки, продолжала уговаривать чехов не делать ничего, что могло бы помешать им добраться до транспортных кораблей.

К середине июня 1918 года вдоль всей Транссибирской магистрали от Тихого океана до Волги сложилась примерно следующая ситуация.

Во Владивосток прибыли чешские войска в количестве 12 тысяч человек; их не ждало ни одно транспортное судно. Амурская железная дорога (последний участок Транссибирской магистрали, огибавший границу с Северной Маньчжурией от Карымского до Владивостока) в значительной степени находилась во власти большевиков.

Вокруг Карымского располагались отряды Красной армии, только что вытесненные Семеновым с территории Китая.

Между Карымским и Иркутском, главным оплотом большевиков в Сибири, стояли три чешских эшелона.

Между Иркутском и Омском стояли восемь чешских эшелонов.

Между Омском и Пензой находилась вся 1-я чешская дивизия, теоретически направленная в Архангельск.

И без того запутанная ситуация еще больше осложнилась нарушением телеграфной связи, причины чего остались невыясненными. В конце мая — критическом периоде для чехов — один из их французских офицеров связи заметил, что «шифрованные телеграммы не проходят Мариинск»; только 31 мая иркутский эшелон узнал о важных решениях, принятых в Челябинске неделей ранее, и их причине. И позднее лишь с прибытием чешского курьера в Иркутске получили известие о том, что их соотечественники отбили у большевиков Самару. Нет смысла говорить, насколько серьезными были последствия этого запаздывания, но и оно, и другие аналогичные нарушения почти наверняка помогли затуманить картину событий, сведения о которых с трудом достигали Владивостока и — что более важно — свести на нет отчаянные усилия чешских политических лидеров, пытавшихся с помощью настоятельных телеграфных приказов удержать свои самые западные отряды от вмешательства во внутреннюю русскую политику. Неоднократные предупреждения самому импульсивному из тех офицеров, капитану Рудольфу Гайде, остались неуслышанными.

29 июня, с полного молчаливого одобрения военно-морского командования и консульского корпуса стран Антанты, чехи захватили власть во Вла-

дивостоке; неделю спустя на Урале была захвачена Уфа, и под полным контролем легионеров оказалась почти вся Транссибирская магистраль от Иркутска до Пензы. Численность чешских войск на этом секторе магистрали длиной около 4800 километров составляла всего лишь 40 тысяч, и они не смогли бы добиться столь поразительных успехов без помощи местных контрреволюционных сил. Ободренные действиями чехов, эти силы появлялись повсюду, и кое-где их вклад в победу был неоченим, а в результате сотрудничества они автоматически становились властными преемниками изгнанных большевиков.

Таким образом, возникла случайная и пестрая смесь региональных режимов, из коих самыми значительными были Западно-Сибирский комиссариат (весьма реакционный, базировавшийся в Омске) и западнее, в Самаре, — Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, состоявший в основном из социал-революционеров. Над Омском развеялся зелено-белый флаг, олицетворявший леса и снега Сибири, над Самарой реяло красное знамя. Омск претендовал на власть по всей Сибири, Самара настаивала на том, что она — по меньшей мере потенциально — является правительством всей России. Отношения между обоими правительствами были неизменно натянутыми.

Тем временем во Владивостоке, и тем более вне России, положение находящихся в самой западной точке чехов ошибочно считали таким же безвыходным, каким оно казалось на карте. Телеграфная связь, как мы уже упоминали, была ненадежной, слабость большевистской власти в Сибири еще предстояло осознать, а массы военнопленных тревожили все больше.

В телеграмме, посвященной чехам, во вторую неделю июня один из чиновников британского министерства иностранных дел отметил: «Я хотел бы в последний момент использовать этих чехословаков. Их вмешательство почти наверняка (...) запустило бы весь процесс». Неделей ранее столь же страстное желание «использовать» чехов подразумевалось в решении о их будущей роли, принятом Верховным военным советом Антанты, и было охарактеризовано Кеннаном как «один из тех странных и бесполезных компромиссов, к которым склонны энергичные правительства». В Версале ничего не знали о полной перемене в положении чехов, явившейся результатом челябинского инцидента и его последствий, однако приняли решение добиваться от Чехословацкого национального совета «принципиального одобрения» задержки «некоторых чешских воинских частей» в Мурманске и Архангельске, куда, как ошибочно полагали, все еще продвигались самые западные чешские эшелоны. В то же время Японию попросили предоставить суда для эвакуации остальных (то есть всех, расположенных западнее Омска) из Владивостока. Верховный военный совет Антанты настолько не владел ситуацией на Урале и в Сибири, что его решения могли представлять

лишь академический интерес. Дело заключалось в том, что обе половины чешской проблемы следовало решать так, чтобы по меньшей мере часть легиона оставалась под рукой для активных действий на российской территории. Курс на скорейшую передислокацию всех чехов на Западный фронт еще господствовал во французских официальных кругах, однако на самом высоком уровне его разъядал порыв вмешаться во внутренние дела России.

К июню 1918 года сибирский вопрос стал «основной проблемой американской внешней политики», а американская внешняя политика всегда была для Антанты основной проблемой сибирского вопроса. Кратко ситуацию можно обрисовать так: только Япония могла предоставить главные компоненты вооруженной интервенции, потому что лишь у нее были свободные войска и транспорт и лишь она располагалась достаточно близко к Сибири. Америка не была готова дать все необходимое, главным образом, потому, что не доверяла Японии, а отчасти потому, что не хотела отвлекать даже самую малую часть своих сил и средств от Западного фронта. Следовательно, все зависело от того, захочет ли Америка изменить свою позицию.

Трехмесячные попытки Франции и Британии воздействовать на США потерпели неудачу. Однако в непробиваемом отказе от сотрудничества президента Вильсона начали появляться трещинки, едва различимые вне официальных вашингтонских кругов. «Германские» военнопленные его беспокоили и прежде; в мае он вдруг заинтересовался, «существует ли какой-нибудь законный способ помочь» Семенову, а в конце того же месяца успешно возобновленное немцами наступление во Франции подчеркнуло назревшую необходимость каким-либо образом облегчить давление на Западный фронт. Затем зародились мучительные сомнения в том, имеет ли президент право неизменно выступать против желаний своих союзников. В Вашингтон прибыл Масарик, ратовавший за поддержку дела чехов. Наметились положительные сдвиги в бесконечных переговорах с Японией о взаимоприемлемом базисе сотрудничества в Сибири.

Эти и другие факторы, включая страстную мольбу главнокомандующего войсками Антанты маршала Фоша, не изменили точки зрения президента, но помогли подготовить почву для ее изменения. Когда к концу июня подробные отчеты — обильно сдобренные ошибочной информацией о немецком влиянии и враждебно настроенных военнопленных в Сибири — открыли Вашингтону глаза на положение чехов в Сибири, как многообещающее, так и опасное, Вильсон почти мгновенно развернул американскую политику на сто восемьдесят градусов. Образ действий, до сих пор диктовавшийся лишь целесообразностью (причем весьма сомнительной), теперь объяснялся бескорыстной заботой о чужом благе; подозрительная и туманная затея превратилась в спасательную операцию с исключительно гуманными целями. Государственный секретарь США Лансинг резюмировал: «Чехи сущест-

венно изменили ситуацию, внося сентиментальную окраску в вопрос нашего долга».

Решение США послать воинское соединение в Сибирь было принято — весьма поспешно, 6 июля. В своем «Решении об интервенции» Кеннан анализирует предысторию этого решения и любопытную двусмысленность официально объявленных причин его принятия в трех слегка различающихся версиях. Чехов необходимо спасти, или, вернее, помочь им спастись, ибо цель американского военного вмешательства была определена как «прикрытие чешских тылов, управляемое из Владивостока». Только от кого требовалось спасти чехов? И от кого прикрывать их тылы? Ни на один из этих вопросов не было ответов в *Памятной записке*, которую президент отпечатал на собственной пишущей машинке, явно ни с кем не посоветовавшись, и которую 17 июля госсекретарь представил послам стран Антанты (правда, в опубликованном две недели спустя варианте главными злодеями назывались «вооруженные немецкие и австрийские военнопленные»).

«Военные действия, — утверждалось в *Памятной записке*, — допустимы в России... только для того, чтобы помочь чехословакам консолидировать свои силы и начать успешное сотрудничество с братьями-славянами, а также стабилизировать любые попытки самоуправления и самообороны, в коих сами русские, вероятно, пожелают принять помощь». Эти туманные фразы почти бессмысленны. Какие русские? Самооборона от кого? И кроме всего прочего, какое отношение имеет помощь чехам «начать успешное сотрудничество с братьями-славянами» (против некоторых из коих они отчаянно сражались уже несколько недель) к победе в войне с Германией?

В дипломатических посланиях, к коим относится *Памятная записка* Вильсона, неопределенность редко бывает роковой ошибкой. В последующих документах всегда можно прояснить двусмысленности, восполнить упущения, сгладить противоречия. Расплывчатость, с которой американское правительство определило свои цели в Сибири, не причинила бы никому никакого вреда, если бы неподписанная копия *Памятной записки* в запечатанном конверте не была вручена назначенному, но еще не вступившему в должность командующему экспедиционными силами США через две недели после ее написания. Передавая конверт на железнодорожной станции Канзас-Сити, военный министр сказал: «Здесь содержится политика Соединенных Штатов в России, коей вы должны следовать. Соблюдайте осторожность».

Генерал Гревс, будучи добросовестным офицером, крайне пунктуально подчинился полученным приказам. Следует отметить, что в указаниях военному командиру даже мельчайший элемент неопределенности очень опасен. Как попытка логически обосновать запутанные, но в основе своей благородные мотивы Соединенных Штатов Америки для осуществления ограничен-

ной интервенции в Сибири *Памятная записка*, возможно, и была бы приемлема, но как постоянные приказы-инструкции, призванные строго контролировать поведение вооруженных сил страны на отдаленном театре Гражданской войны, сей документ был не только бесполезным, но и вредным.

Злополучный командующий чувствовал себя обязанным рассматривать *Памятную записку* именно как приказ. Никаких других инструкций он не получил. До прибытия во Владивосток он, по его более позднему признанию, «не имел никакой информации о военной, политической, общественной, экономической и финансовой ситуации в России». США вступили в Сибирь со связанными за спиной руками. С удивительным простодушием в *Памятной записке* утверждалось, что следует четко разграничивать «военную интервенцию в Россию» (в которой правительство США «ни в коем случае не могло принимать участие... или одобрять таковую») и отправку войск в Россию на поддержку чехов (против неопознанных противников). Это можно назвать государственной мудростью в ее самом теоретическом выражении, однако результаты решения были совершенно противоположны теоретическим. Фактически это решение, пусть и непреднамеренно, одобряло действия союзников США, которые, как совершенно верно провозглашалось в *Памятной записке*, «не наводили порядок в прискорбном российском хаосе, а усугубляли его, не помогали, а вредили, и нисколько не способствовали победе над Германией».

Глава 6

«Ужасное впечатление у меня осталось от Харбина, — сказал Колчак следователям. — Например, в Харбине я не встречал двух людей, которые бы хорошо высказывались друг о друге».

По словам адмирала, прибывшего в Харбин в начале мая, русская община находилась в крайней степени деградации и разъединения. Генерал Хорват возглавлял отставшую от времени клику, претендующую на звание правительства. Еще одно правительство, пестрая группа из Сибири под предводительством одесского еврея Дербера, проживала из милости Хорвата в нескольких железнодорожных вагонах на станции; они никем не правили, никого не представляли, однако время от времени посылали каблогаммы президенту Вильсону. Харбин мог похвастаться и полудюжиной армий, правда очень маленьких. Одна состояла только из большого штаба без единого солдата. В другой все рядовые были китайцами... Все «армии» имели собственную контрразведку, занятую личной мстью, вымогательством и торговлей опиумом. Самую сомнительную репутацию имело соединение полковника Орлова, но у него были настолько плохие отношения с Семеновым,

что вопрос об отправке его людей в Забайкалье на борьбу с большевиками практически не обсуждался. По словам Колчака, он быстро понял, что в харбинской сточной канаве вряд ли найдется материал для создания движения за национальное возрождение России.

Во всей Северной Маньчжурии реальной властью обладали только японцы. Они контролировали поступление оружия и боеприпасов. У них было полно денег и готовность передавать их своим *протеже* без формальностей, что очень устраивало получателей. (Уже в иные времена, в 1927 году, разразился крупный политический скандал, вызванный — в разгар волнений в японском парламенте — обвинениями в неправильном использовании секретных военных фондов во время интервенции. Обвинения, в которых упоминалось 500 миллионов иен, что приблизительно составляло 50 миллионов фунтов стерлингов, так и не были опровергнуты.) Японская марионетка Семенов расположился на одном конце Китайско-Восточной железной дороги, на другом — в местечке под названием Пограничная — утвердился есаул Калмыков, фигура менее значительная, но в некоторых отношениях еще более отталкивающий бандит, чем Семенов, и еще более зависящий от своих японских покровителей.

Гораздо важнее всего этого надувательства было то, что в середине мая Япония заключила с Китаем тайное военное соглашение, обеспечивавшее сотрудничество между вооруженными силами обоих государств в том случае, если «враг» станет угрожать либо их территориям, либо «всеобщему миру и спокойствию на Дальнем Востоке». Поскольку враг не был идентифицирован, географические границы Дальнего Востока не определены и не растолковывалось, в чем же могла состоять угроза всеобщему миру и спокойствию, соглашение, по существу, давало Японии право размещать свои войска на территории Китая под любым предлогом всякий раз, как у нее возникало желание.

Таким образом, задолго до того, как во Владивостоке сошел на берег первый японский солдат, Япония создала на континенте очаг влияния, который — и до и после начала интервенции — предоставлял ей большие возможности для плетения интриг, что и было главным в ее континентальной политике.

Из всех участвовавших в интервенции стран Япония на протяжении всего того периода была самой реалистичной. Ее правительство не имело единого мнения по вопросу вооруженного вмешательства во внутренние дела России, сие вмешательство ни в какой мере не поддерживал народ, и о нем некоторое время запрещено было упоминать в газетах. Однако ее политика была жесткой и последовательной, стратегия — продуманной и осторожной.

Япония объявила — отчасти обоснованно — о своем «особом положении» в Сибири. У нее были там экономические интересы, вполне законные,

и политические, которые таковыми не являлись. Кроме того, огромное значение для Японии, безусловно, имело то, кто контролировал Владивосток. Она имела веские причины и необходимые ресурсы для независимой от других стран интервенции. Искушение «сделать это в одиночку» постоянно усиливалось призывами из Лондона и Парижа. (11 мая сэр Генри Уилсон, начальник британского Генерального штаба, отметил в своем дневнике: «С военной точки зрения японская армия не могла вторгнуться в Сибирь слишком быстро и не могла продвинуться слишком далеко... Я всегда убеждал в этом мое правительство и надеялся, что и японский Генеральный штаб убеждает в том же свое правительство».)

Однако Япония не сдавала позиций: она войдет в Сибирь только при поддержке американцев. Эта сдержанность окупилась с лихвой. Когда США решили спасти чехов, президент в своей *Памятной записке* предусмотрел тесное сотрудничество американских войск с «небольшим военным соединением вроде (нашего) собственного из Японии». Правда, эту часть плана не позаботились заранее согласовать с японцами. Таким образом, страны поменялись ролями. До сих пор японская экспедиция нуждалась в американской поддержке, теперь же совсем наоборот. Более того, американцы уже связали себя обязательствами. По моральным причинам они не могли отказаться от своего благородного предприятия, по военным — не могли осуществить его без японцев. Как указывает Кеннан, «понимал это президент Вильсон или нет, но японцы загнали его в угол».

Япония продолжала к своей выгоде использовать американский проект в его первоначальном виде. Заявление японского правительства — аналогичное *Памятной записке* Вильсона, но опубликованное двумя неделями позже, — по сути, приглашало к сотрудничеству другие страны-союзницы, кои Вильсон надеялся исключить. Японцы отказались ограничить численность своих войск 7 тысячами, то есть численностью американского контингента, — решили для начала выделить дивизию (около 12 тысяч человек) и сохранить право при необходимости послать пополнение, причем общее число никак не ограничивалось и в конце концов возросло до 72 тысяч и более, чем в десять раз превысило ожидания американцев, или то, чего они могли бы ожидать, если бы воспользовались своим правом на какие-либо ограничения.

Хотя Япония и ввела в бой силу, которая вкупе с чехословаками оказалась во много раз больше всех других союзных контингентов, вместе взятых, она ограничила операции сферой своих непосредственных интересов. Япония всегда заявляла, что ее войска не продвинулись дальше Иркутска, они и не продвинулись. Очистив от большевиков Амурскую железную дорогу, японцы успокоились и перешли в основном к гарнизонной службе. В интересах международной безопасности они посылали летучие отряды на борь-

бу с партизанами, но никогда не воевали на фронте с регулярными войсками Красной армии. Японцы были единственной ударной группой, посланной Антантой в Сибирь, однако так никогда и не нанесли удара.

Весь период интервенции борьба с переменным успехом велась между соперничавшими фракциями в японском правительстве, между правительством и Генеральным штабом, между Генеральным штабом и полевыми командирами. В результате образ японской политики, со стороны такой кристалльно чистой, при ближайшем рассмотрении слегка мутнеет и искажается. Япония не намеревалась аннексировать (захватывать) ни Приморский край, ни тем более Забайкалье. Она не желала укреплять свое уже существующее влияние в Маньчжурии. Ее планы относительно Монголии были ориентировочными и весьма неопределенными. Япония — по стратегическим мотивам — хотела бы нейтрализовать Владивосток; она выискивала любые возможности получить экономическую выгоду и на всем театре интервенции от Тихого океана до озера Байкал не теряла решимости, по выражению Кеннана, «не выпускать руля из своих рук».

Таким образом, конечные цели Японии — хотя и негласно — были диаметрально противоположны целям ее союзников. Ей совершенно не нужно было сильное, стабильное русское правление в Сибири, к чему стремились другие страны Антанты. Япония была заинтересована в анархии или по меньшей мере в режиме военной диктатуры, который с ее помощью так ярко представлял Семенов. Японии было совершенно безразлично, что там происходило с Чехословацким легионом. Из всех провозглашенных целей интервенции ее волновало лишь желание Антанты «поддержать любые попытки самоуправления или самообороны, в которых сами русские пожелали бы принять помощь», но волновало совершенно определенным образом: сделать все возможное, чтобы усилия, направленные на достижение этой цели, потерпели неудачу. Исходя из этого, Япония щедро помогала негодям и мешала патриотам. Для русских «ценой британской и французской помощи было национальное единение, а ценой японской помощи — полнейшее разобщение» [*Уайт Дж. А.* Интервенция в Сибири].

В последний раз Япония выступила в сфере международного военного сотрудничества в Северном Китае в период Ихэтуаньского восстания. Контраст между ее поведением в 1901 и 1918–1922 годах, между высокой репутацией, завоеванной в Пекине, и позором, сопровождавшим уход из Сибири, показывает, как быстро менялся национальный характер, как быстро самурайские традиции уступали место безнравственности Пёрл-Харбора и лагерей для военнопленных. Во время осады иностранных дипломатических представительств маленький японский военный контингент — меньший, чем любой другой, — был «основой и мозгом обороны»; японцы были единственным народом, который не подвергался критике в подробных отчете-

тах об осаде, и в международных силах по снятию осады японские войска вынесли основную тяжесть боев. Тогда они вели себя безукоризненно.

В Сибири все было по-другому. Когда приходилось вступать в бой, японцы сражались с обычной для них храбростью, однако как оккупационная армия они вели себя безжалостно, высокомерно и занимались вымогательством. Они были жестоки к своим союзникам и предавали их. В покровителях столь низкопробных злодеев, как Семенов и Калмыков, трудно было признать стойких и благородных героев Пекина.

Ни одной из держав Антанты интервенция в Сибирь не принесла славы. Однако за всеми их ошибками и просчетами — в основании безрассудной затеи, от которой пришлось в конце концов отказаться, — было желание творить добро. Поражение Германии, спасение чехословаков, даже «возрождение» России — все эти цели, общие для союзников, сами по себе не были постыдными. Япония никогда их не разделяла. Она преследовала свои собственные цели и, вступив в Сибирь «на плечах» интервенции, неизменно саботировала сей процесс, как только видела в этом личную выгоду.

В конце Русско-японской войны раненый Колчак попал в плен к японцам. С ним обращались уважительно, и у него не осталось никаких предубеждений против японцев. А вот они его появление в Харбине не приветствовали. Черты его характера, высоко оцененные британцами — честность, умение повести за собой, — автоматически делали его *персоной нон грата* для японцев. В их дальневосточных планах не было места этому русскому — неподкупному и пользовавшемуся уважением своих соотечественников. Японцы понимали, что при удобном случае Колчак навел бы относительный порядок в слабохарактерном, раздираемом дразгами *полусвете*, лидерами которого японцы так легко и выгодно манипулировали, и повел бы его за собой. По этим соображениям, как только Колчак появился на арене, японцы вынесли ему приговор.

Генерал Накадзима, глава японской военной миссии в Маньчжурии, казался американскому генералу Гревсу «самым важным японским чиновником без каких-либо специальных обязанностей». Накадзима и его миссия были частью того, чему предстояло превратиться в постоянный государственный аппарат японской экспансии — маленькой, но влиятельной военно-политической организацией, подчиненной Генеральному штабу, но независимой от регулярных войск, чем-то сродни Арабскому бюро, созданному британцами в 1916 году. Самым выдающимся из его преемников был, пожалуй, генерал Доихара, «маньчжурский Лоуренс», работавший в тридцатых годах. Накадзима был человеком умным и — редкость для японского офицера — с изысканным утонченным вкусом. Прежде он был военным атташе в Петрограде и начальником военной разведки, знал русский и французский языки.

Первая беседа Колчака с ним сложилась не очень удачно. Адмирал разъяснил свои планы по расширению и координации небольших русских военных отрядов в зоне железной дороги и попросил помочь в их вооружении. Накадзима скептически оценивал шансы Колчака на успех, но согласился предоставить некоторое количество пулеметов и другого вооружения. Затем, к удивлению Колчака, японец спросил: «Какую компенсацию вы можете предложить?» Колчак заявил, что не уполномочен вести переговоры, однако оружие наверняка будет оплачено Китайско-Восточной железной дорогой. Накадзима ответил, что «денежный вопрос его вовсе не интересует», подразумевая, что его хозяева заинтересованы в неких политических уступках. Затем был поднят вопрос — не совсем уместно — о возможности направления всей японской помощи независимым русским отрядам через центральную организацию. Реакция Накадзимы на это разумное предложение не отмечена в протоколе, но вряд ли она была благоприятной. Перед расставанием генерал спросил Колчака, собирается ли тот встретиться с Семеновым, и адмирал ответил утвердительно.

Второй незначительный поход Семенова в Забайкалье закончился неудачей. Семенова оттеснили за границу, но ему удалось сохранить штабквартиру в Манчули. В это захудалое местечко 15 мая и прибыл специальным поездом Колчак на первую и последнюю встречу с человеком, впоследствии оказавшим пагубное влияние на его судьбу. Колчак или кто-то из его штаба предупредил о приезде телеграммой, по слухам, неудачно сформулированной. Белые русские лидеры склонны были легко обижаться, и на платформе встречающих не оказалось.

Манчули представлял собой железнодорожную станцию, расположенную в центре широкой голой равнины, и маленького китайского городка, за стенами которого теснились монгольские юрты. В таком жалком месте Семенов, естественно, не мог достойно встретить гостя, и его невежливость была демонстративной, тем более что сам он (как вскоре выяснилось) находился в своем личном вагоне недалеко от поезда Колчака. Здесь после тщетного, оскорбительного ожидания, проглотив обиду, и нашел его адмирал.

Колчак, согласно собственной версии этой встречи, вел себя разумно и ссориться не желал. Он сказал Семенову, что приехал не как начальник, а дабы выяснить, в какой материальной помощи нуждается войско атамана; в его обязанности входит координация подобных вопросов в зоне Китайско-Восточной железной дороги, а потому он привез с собой 300 тысяч рублей от управления дороги.

Колчак, вспыльчивый по натуре, имел серьезные причины для гнева; вряд ли он вел себя так смиренно, как ему казалось. Однако в любом случае, как бы тактично ни был предложен мир, вряд ли его могли принять. Уж Накадзима позаботился об этом заранее. Семенов ответил уклончиво: он, мол,

ни в чем не нуждается, все необходимое получает от Японии, просить ему нечего, и никаких пожеланий и просьб у него нет. «Тогда я убедился, — вспоминал Колчак, — что, в сущности, разговаривать не о чем». На самом деле адмирал сказал Семенову, что снимает с себя всякую ответственность, и они расстались в наихудших отношениях.

За этой бесполезной встречей через несколько дней последовала беседа с Накадзимой в Харбине, во время которой Колчак потерял самообладание («Я бываю очень сдержан, но в некоторых случаях я взрываюсь»). К тому времени адмирал уже не пользовался влиянием в Маньчжурии. Более хитрый человек мог бы чего-то достичь, подыгрывая японцам, обменивая пустые обещания на оружие и деньги. Харбин был набит русскими, с некоторым успехом делавшими это в небольших масштабах. Однако хитрость даже ради благой цели никогда не была свойственна Колчаку. «Знаете, — позже, тем же летом, объяснял ему русский посол в Японии, — вы поставили себя с самого начала в слишком независимое положение от Японии, и они поняли это. Вы позволяете себе разговаривать с ними слишком независимым тоном... Они себе составили мнение о вас как о своем враге». Можно не сомневаться, прямолинейность Колчака раздражала японцев, он демонстративно злил их гораздо больше разумного, однако говорить, что он лишил себя шансов на помощь японцев своим поведением, было бы заблуждением, так как у него никогда не было ни шанса. В японском плане развития событий честный человек был не уместнее лисы в курятнике.

Пару месяцев Колчак изо всех сил боролся с недисциплинированностью и интригами, которые и при поддержке японцев, и без нее мешали всем его попыткам объединить русские вооруженные силы в зоне железной дороги. В конце концов он осознал, что, пока японцы настроены против него, все его усилия тщетны, и в начале июля передал командование и отправился в Токио, лелея слабую надежду заставить японский Генеральный штаб прислушаться к голосу разума.

Колчака любезно приняли в Генеральном штабе, выслушали его вежливые «вопросы ребром», но не придумали ничего более конструктивного, чем предложить Колчаку пока отдохнуть в Японии («у нас здесь есть хорошие места»). Ему, мол, сообщат, когда придет время для его возвращения на материк.

Колчак понял, что ничего здесь не добьется. Он страдал от перенапряжения, чувствовал себя неважно, а потому принял предложение Генштаба. Послав Хорвату по телеграфу отчет о беседе, он поселился в гостинице.

Прошло семь месяцев с тех пор, как он, получив от британцев назначение в Месопотамию, покинул Токио, семь месяцев разочарований и неудач. Будущее виделось ему в мрачных тонах. Наступил август, и интервенция развивалась полным ходом. Однако из Токио интервенция выглядела почти

исключительно японской затеей, в которой вряд ли нашлось бы место русскому адмиралу, вызвавшему столь сильную неприязнь японцев. Только к концу августа Колчак получил шанс, которого, безусловно, заслуживал этот достойный и преданный своей родине человек. 31 августа глава британской военной миссии в Сибири записал: «Несомненно, он — наиболее подходящая фигура из русских для наших целей на Дальнем Востоке». Через несколько дней Колчак во второй раз покидал Токио, и во второй раз под покровительством Британии.

Глава 7

Чехословацкий легион, чья воображаемая потребность в помощи в июле 1918 года стала краеугольным камнем политики Антанты в Сибири, к тому времени насчитывал около 70 тысяч человек и мало походил на вооруженное войско любой другой страны.

До войны в России проживала значительная, хотя и разбросанная община чехов и словаков: словаки в большинстве своем жили маленькими крестьянскими колониями, более утонченные чехи были заняты в промышленности или торговле. Когда начались военные действия, многие из этих эмигрантов были завербованы в *дружину* под командованием русских офицеров. *Дружина* численностью не более полка поставляла в русские войска маленькие отряды специалистов для разведывательной работы. На том этапе главная военная ценность чехов и словаков состояла в их знании языков противника; они были востребованы на постах подслушивания и в сопровождении патрулей, то есть играли ту же роль, что туземцы-разведчики в колониальных войнах.

С самого начала их соотечественники, служившие в австро-венгерских армиях, проявляли сильную склонность к дезертирству. Если дезертировать не удавалось, они легко сдавались в плен. Однако долгое время русские не позволяли военнопленным записываться в *дружину*, в начале 1916 года насчитывавшую всего около 1500 человек. Для подобного отношения у русских было несколько причин. Очень нелегко было отличить настоящих чехов и словаков от военнопленных других национальностей, выдававших себя за них, чтобы вырваться из плена. Кроме того (и это был главный аргумент, выдвигаемый высшим командным составом), дезертиры или те, кто пытался дезертировать, уже нарушили военную присягу императору Францу-Иосифу, значит, они могли оказаться столь же ненадежными и в русских войсках.

Политики не приветствовали любые шаги, которые могли бы помешать (если бы выпал такой шанс) заключению сепаратного мира с Австро-Венг-

рией. Вероятно, подсознательно ощущалось — вполне естественно в империи со столь многонациональными подданными, — что было бы ошибкой поощрять все, ведущее, как вышеупомянутая *дружина*, к самоопределению и осознанию малыми нациями своего права на самостоятельность. В любом случае *дружина* оставалась символическим войсковым соединением. Чехословацкие военнопленные продолжали томиться в лагерях, хотя некоторым квалифицированным рабочим удавалось устраиваться на военные заводы.

Несмотря на многочисленные прошения и закулисные махинации, такое положение дел сохранялось до отречения царя в марте 1917 года. Временное правительство Керенского оказалось щедрее по отношению к чехословакам, чем его предшественники. Военнопленных освободили, и *дружина* быстро увеличилась до армейского корпуса из двух дивизий. Корпусу не хватало боевой техники, в особенности артиллерии; боевая подготовка оставляла желать лучшего, а все старшие офицеры были русскими. Однако легион, как его стали называть впоследствии, был сплоченной, способной к самостоятельным действиям боевой единицей с гораздо большими внутренними ресурсами, чем разлагающиеся дивизии русской армии. Солдаты носили русскую военную форму, украшенную красно-белым значком в виде богемского льва. Русские крестьяне, понятия не имевшие о Богемии и вряд ли когда-либо видевшие льва, принимали царя зверей за щенка. Когда же через некоторое время чехословаки стали непопулярными, русские стали называть их *чехособаки*.

Основатели (на том этапе только мечтавшие стать основателями) Чехословацкого государства со смешанными чувствами восприняли легион, внезапно появившийся на международный арене, словно святой Георгий, спасающий девицу в беде. Статус независимого государства — благо, для получения которого несколько позже достаточно было одного лишь желания, — в те дни предоставлялся неохотно. В долгой борьбе за государственность чешские войска во Франции, Италии и России были, по признанию Масарика, «нашим величайшим плюсом».

Двенадцати тысяч чехов и словаков во Франции и 24 тысяч в Италии было маловато для достижения громких военных успехов, но вполне достаточно, чтобы создать эффект присутствия и заставить говорить о себе на конференциях. На официальных приемах они обеспечивали полезную рекламу делу своей страны, представляя новые государственные регалии. Легион, находившийся в России, хотя и превосходил в два раза европейские силы, в этом отношении не представлял никакой, даже символической, ценности. В июне 1917 года, в период последнего бесславного наступления при правительстве Керенского, чехословаки отважно и весьма успешно сражались при Зборове, но к тому времени русский фронт обрел дурную славу, и Запад почти не заметил их подвигов. Несколько месяцев спустя в хаосе революции

о легионе практически забыли. Масарик и Бенеш по вполне резонным соображениям поддерживали усилия французов перевести легион из России на Западный фронт, «театр военных действий, где должна была решиться судьба Габсбургской империи» и где услуги легиона союзникам укрепили бы претензии Чехословакии на признание ее суверенным государством.

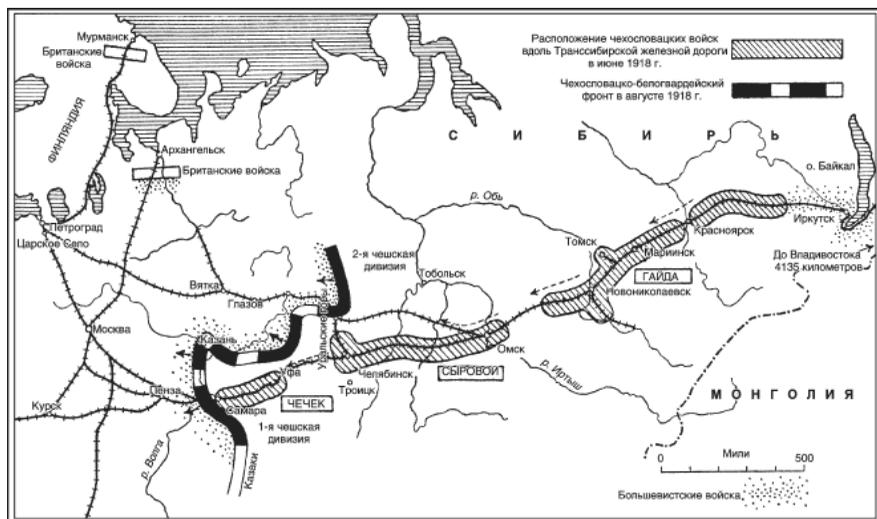
Ни одно из достижений чехов в Европе не могло так прочно закрепить их на географической карте, как драматический и неожиданный захват Транссибирской железной дороги. По замечанию Масарика, в Америке на фоне мрачных известий с Западного фронта действия легиона приобрели «романтический ореол волшебной сказки». Однако и Масарика, и Бенеша, сновавших между Парижем и Лондоном, в затруднительном положении легиона интересовала лишь его пропагандистская ценность. Масарик, в начале того года проехавшийся по России, пришел к выводу (причем раньше всех остальных), что большевики в конце концов одержат победу. Столь же пронзительный Бенеш предвидел опасности широкомасштабной интервенции с неясно определенными целями и «боялся, что наши солдаты станут первыми жертвами». В результате чешские политики официально запретили легиону вмешиваться во внутренние дела России и намечали возобновление его переброски в Европу, как только позволят обстоятельства.

В течение трех месяцев после челябинского инцидента важнейшей целью чехов была перегруппировка их отрядов, разбросанных вдоль железной дороги на 8 тысяч километров, в сплоченное и независимое войско. На этом этапе не следует представлять легион единой вооруженной силой, ведомой к определенной цели центральным штабом. На самом деле существовали три группы, столкнувшиеся со своими специфическими проблемами, взаимодействующие с различными контрреволюционными организациями и в результате имевшими разные точки зрения на создавшееся положение.

Первая группа — чехи, находившиеся во Владивостоке. 29 июня они захватили этот город, что во «взрывоопасной ситуации на Дальнем Востоке произвело эффект, сравнимый с выдергиванием чеки из ручной гранаты». Почти сразу после захвата их командир, толковый русский генерал чешского происхождения Дитерихс сообщил британскому военно-морскому командованию, что чехи более не нуждаются в кораблях, уже направлявшихся для переброски легиона на Западный фронт, поскольку собираются продвигаться к Иркутску. Вероятно, владивостокские чехи опасались за своих соотечественников гораздо больше, чем диктовала ситуация, и были полны решимости их освободить. Правда, по двум важным вопросам они были осведомлены лучше других двух групп. Во-первых, они сознавали явное нежелание союзников предоставить транспорт для находившихся во Владивостоке солдат (многие провели в городе более двух месяцев, так и не встретив ни одного офицера, отвечавшего за погрузку на корабли). Второй причиной была

перспектива вмешательства Антанты: во Владивостоке всегда были склонны видеть интервенцию в розовом свете, а изгнание чехами большевиков и обретение контроля над портом значительно увеличивали ее вероятность.

Средняя группа, находившаяся в Центральной Сибири, к западу от озера Байкал, главным образом, была озабочена подавлением таких бастионов советской власти, как Иркутск и Красноярск, которые до середины июля разделяли контролируемые ею участки Транссибирской железной дороги. Кроме того, этой группе приходилось охранять сорок железнодорожных тоннелей на крутом южном побережье Байкала, разрушение которых заблокировало бы путь на Владивосток на многие недели, если не месяцы. Эти тоннели практически неповрежденными были захвачены войсками под командованием неистового Гайды в ходе ряда умело проведенных боевых операций. Что касается политического аспекта, чехи Центральной Сибири сотрудничали с Западно-Сибирским комиссариатом Омска, не чуждым позитивного оптимизма, как и любое другое белогвардейское правительство на заре своего существования.



Карта № 2. Расположение частей Чехословацкого корпуса, июнь 1918 г.

Инициативный офицер Чечек возглавлял третью и самую западную группу чехов, основу которой составляла 1-я дивизия. Большая часть ее во время челябинского инцидента все еще находилась в окрестностях Пензы к западу от Волги, а потому — на бумаге — в еще более опасном положении, чем остальные части легиона. Однако в начале июля Чечеку, с упорными боями продвигавшемуся на восток, удалось установить контакт с цен-

тральной группой. На ранней стадии сражений была захвачена Самара и создан социал-революционный Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, о котором мы говорили в 5-й главе; этот режим вызывал у чехов, в большинстве своем социалистов по темпераменту и традициям, гораздо большие симпатии, чем омские реакционеры, а тесное сотрудничество с самарским правительством неизбежно влияло на их мировоззрение. Легкость, с которой чехи преодолели сопротивление большевиков, и восторженное к ним отношение как к освободителям произвели на них глубокое впечатление. Самарское правительство, чья собственная военная мощь, по всей видимости, возрастала, предложило чехам изменить направление деятельности.

Практически с любой точки зрения, от крайнего бескорыстия до абсолютного эгоизма, существовало множество причин для переориентирования с отступления на восток к крестовому походу на Запад. Чтобы добраться до Владивостока, пришлось бы с огромными трудностями преодолеть 8 тысяч километров. Даже если бы чехов поджидали там транспортные корабли — в чем все сильно сомневались, — оставалось путешествие через два океана (один из которых кишел подводными лодками) и североамериканский континент, а затем сомнительная привилегия поучаствовать под командованием иностранных офицеров в окопной войне против немецкой армии на Западном фронте. Другой вариант — остаться на месте, на Волге, и принять участие в привычных операциях против врага, которого они уже оценили, с целью, которую все понимали, а большинство одобряло. Причем — во всяком случае сначала — в качестве старшего военного партнера. Во время войн нередко случается так, что в армии, получившей выбор, к какой из сторон примкнуть, драчун и уклонист, сорвиголова и любитель беззаботной жизни склоняются к одному и тому же. Так получилось и в этом случае.

На тотальное вовлечение чехов в Гражданскую войну повлияло несколько второстепенных факторов. Их русские офицеры, которых они, как правило, уважали, яростно ненавидели большевиков и стремились поддержать претензии Омска и Самары. Попытки распропагандировать легионеров с помощью чешских коммунистов вызвали недовольство в рядах чехов, и, более того, широко распространилось мнение — особенно после прибытия в конце апреля в Москву в качестве германского посла графа Мирбаха, — что именно Германия виновна во всех отсрочках и провокациях, а следовательно, своим ответным ударом по Советам они спасают Сибирь от красных не ради белых, а ради центральноевропейских держав.

Вдобавок чехи были убеждены, что им помогут, что Антанта запланировала скорую и крупномасштабную интервенцию и они войдут в состав огромной армии, наступающей на Москву. Это убеждение было основано не только на том, что желаемое принималось за действительное. В конце июня дипломатические представители ведущих держав Антанты передали чехам

два на вид заслуживавших доверия послания, которые создавали впечатление о скорой интервенции и утверждали, что долг легиона — удерживать захваченную территорию. Одно из этих посланий — от американского консула в Москве — пришло в Самару и стало известно западной группе; другое, в котором французский посол упоминал интервенцию «в конце июня» и чехов, образующих «авангард союзной армии», было отправлено в Челябинск, и его адресатом оказалась центральная группа. Кеннан с большим мастерством размотал запутанный клубок недоразумений и ошибочных представлений, из которых возникли эти послания, причем авторы руководствовались самыми лучшими намерениями. Однако у чехов не было основания ставить под сомнение юридическую силу посланий, которые и послужили мощным стимулом для всеми покинутых и отчаявшихся войск¹⁸.

Таковы в общих чертах обстоятельства, которые привели к тому, что 7 июля Исполнительный комитет пензенской группы армий (самой западной группы, до того момента представлявшей арьергард) приказал лейтенанту Чечеху «изменить объект наступления: вместо дальнейшего продвижения на Восток пензенская группа должна остановиться и действовать как авангард Антанты с перспективой формирования нового Восточного фронта против немцев». В этих приказах игнорировались инструкции чешских политических лидеров, находившихся в Европе и во Владивостоке. Они основывались на четырех убеждениях:

- а) что вскоре на Волге появятся мощные вооруженные силы Антанты,
- б) что за советской властью стоят немцы,
- в) что белые — верные и сильные союзники,
- г) что Красную армию не стоит воспринимать всерьез.

Все эти убеждения были ошибочными.

Однако последнее из них в течение нескольких недель подкреплялось развитием событий на «новом Восточном фронте». Отчасти благодаря предприимчивости двух молодых и исключительно агрессивных белогвардейских командиров Капшеля и Войцеховского чехословаки и отряды самарского правительства не только сплотились, но и расширили подконтрольные территории на Волге. На Урале центральная группа со штаб-квартирой в Челябинске действовала столь же успешно. На юго-западе был установлен контакт с оренбургскими казаками, которые под предводительством атамана Дутова, пухленького бесталанного человечка со щенячьим взглядом, добавили сумя-

¹⁸ Похоже, что надежды чехов на помощь Антанты подогревал один из французских офицеров связи с легионом майор Гинэ. В ноябре, когда увлечение легионеров гражданской войной испарилось, генерал Нокс, глава британской военной миссии, отмечал: «Гайда, как все остальные, обвинял майора Гинэ из французской миссии в том, что тот на протяжении последних четырех месяцев постоянно обещал немедленную и щедрую помощь союзников». Гинэ был самонадеянным оптимистом.

тицы в неразбериху Гражданской войны, хотя не оказали сколько-нибудь заметного влияния на ее исход. На северо-западе чехи и белогвардейцы успешно двинулись на важный промышленный центр Екатеринбург и тем самым невольно спровоцировали вопиющее беззаконие, потрясшее весь мир и, пожалуй, особенно монархическую Британию, усугубив отвращение, которое советский режим вызывал в правых кругах Запада.

В мае в Екатеринбург привезли царя Николая II и его семью. Это был уже третий пункт их заточения. В Царском Селе на окраине Петрограда Временное правительство обращалось с ними с подобающим уважением — их заключение было не более чем домашним арестом. Однако волнения в столице в июле 1917 года привели к тайной перевозке царской семьи в Тобольск, сердце Сибири.

Условия их содержания, питания и конвоирования в этом отдаленном местечке после большевистской революции резко ухудшились. Царской семье приходилось терпеть мелкие унижения — все более разболтанная охрана лишала их самых маленьких радостей. Им запрещалось ходить в церковь, из рациона были исключены такие «роскошества», как масло и кофе, большую часть слуг выгнали. В общем, гайки закручивались.

В Екатеринбурге в двухэтажном доме, прежде принадлежавшем купцу Ипатьеву, жизнь стала еще более суровой. Их оскорбляли и унижали, плохо кормили, кроватей на всех не хватало. Охранники, часто пьяные, ни на минуту не оставляли их одних. Когда юные великие княжны отправлялись в уборную, сопровождавшие их мужчины толпились снаружи, выкрикивая непристойные ругательства и разрисовывая стены похабными картинками.

Первоначально большевики собирались устроить показательный суд над царем и царицей в Москве с Троцким в роли главного обвинителя. Однако жизнь разрушила эти планы. Екатеринбург, еще в апреле (по так и не выясненным причинам) казавшийся более безопасным местом для содержания царственных узников, чем Тобольск, через три месяца оказался под угрозой вторжения контрреволюционных войск.

Существуют три возможных объяснения, почему советские власти не сделали очевидного: не вывезли Романовых до того, как положение Екатеринбурга стало критическим.

Первое: Москва ухватилась за неожиданно предоставившуюся возможность ликвидировать всю семью под предлогом революционной необходимости в исключительно критической ситуации. С чисто практической точки зрения подобное развитие событий имело множество преимуществ перед публичным судилищем, которое могло бы сделать из царя и царицы мучеников и к которому невозможно было привлечь их детей в возрасте от десяти до девятнадцати лет. Хотя ни одно из контрреволюционных движений не ставило себе целью восстановление монархии, выживание любого из ее пред-

ставителей в смутное лето 1918 года неизбежно противоречило интересам советской власти.

Второе и, возможно, не самое главное: в постоянно менявшейся и неопределенной ситуации на Урале перемещение царской семьи казалось неблагоприятным из страха, что *по дороге* будут предприняты попытки ее спасения. Однако третье и наиболее вероятное объяснение случившегося состоит в том, что вопросу о их судьбе не придавали особого значения, пока ситуация не достигла той критической стадии, когда варварское решение было единственно безопасным.

Уральский совет принял свое решение 12 июля, предварительно согласовав его с Москвой, с председателем ВЦИК Советов Свердловым, в честь которого впоследствии был назван Екатеринбург. Падение Екатеринбурга в тот момент было вопросом нескольких дней. Руководителем операции назначили еврея Юровского. В полночь 16 июля царя, его семью и домочадцев разбудили, сказали, что в городе назревают волнения и, чтобы не пострадать от шальных пуль, следует спуститься в подвал.

Пленники не спеша оделись и спустились в подвал, захватив с собой подушки и покрывала. Царь нес большого десятилетнего сына на руках, затем он посадил его на стул. Кроме царицы и четырех великих княжон в подвал спустились семейный доктор, повариха, лакей и горничная. Когда все собрались, Юровский привел помощников: семерых латышей и двоих русских из ЧК. Юровский объявил царю о предстоящей казни. «Что?» — переспросил плохо расслышавший его слова царь. Вместо ответа, Юровский собственноручно пристрелил его. Расстрельная команда в упор скосила остальных. После первых выстрелов подвал заполнился пороховым дымом, к тому же исполнители были полупьяными и это мешало прицельной стрельбе. Когда в конце концов замерли предсмертные крики и иссякли пули, латышские стрелки перевернули корчащиеся в судорогах тела и добили жертвы штыками.

На этом ночная работа не закончилась. Предусмотрительные члены Уральского совета понимали, что суеверное крестьянство может сделать царственные останки предметом религиозного поклонения, и Юровский приказал уничтожить трупы. Их побросали в грузовик и вывезли в заброшенную угольную шахту в 20 километрах от города, оцепленную красноармейцами. Затем тела раздели, расчленили топорами, облили бензином и серной кислотой и сожгли на двух огромных кострах. Одежду казненных разодрали штыками (в корсеты девушек и их матери было зашито множество ювелирных изделий) и тоже сожгли. Пепел и кости, включая останки китайского мопса Анастасии, сбросили в затопленную шахту.

Большевики, как большинство революционеров, считали жалость неприличным и постыдным чувством, но похоже, что кровавое убийство царицы

и ее детей несколько смущало даже советских лидеров. В официальном заявлении от 19 июля правительство «признало правильным решение Уральского территориального совета», принятого в результате «приближения чехословацких банд и раскрытия нового заговора контрреволюционеров, замысливших вырвать царя-палача из рук советского правительства». Однако в заявлении расстрелянным объявлялся лишь Николай Романов и особо оговаривалось, что его жена и сын «перевезены в безопасное место». Эта гнусная ложь диктовалась практической целесообразностью. В ночь убийства царя были уничтожены сестра царицы великая княгиня Елизавета, ее муж, великий князь Сергей, и еще несколько членов царской семьи — их живыми сбросили в ствол шахты в Алапаевске.

Обе дамы, внучки королевы Виктории, были немками (дочерьми князя Гессенского), и советское правительство использовало их как пешки, скорее как заложниц в весьма трудных переговорах с правительством Германии. 14 июня в Москве, в собственном кабинете, был убит посол Германии граф Мирбах, и Берлин потребовал разрешение на отправку батальона пехоты в российскую столицу для охраны посольства. Советские правители, резко выступив против столь унижительного предложения, умудрились вовлечь Германию в неофициальную сделку: если немцы откажутся от замысла разместить батальон в Москве, русские гарантируют безопасность и, возможно даже, репатриацию великих княгинь немецкого происхождения. Когда обе вышеупомянутые дамы были убиты, переговоры шли полным ходом (Радек обсуждал эту проблему с германским поверенным в делах 20 июля, Чичерин — 23 июля), и, следовательно, необходимо было создавать видимость того, что царица и ее сестра¹⁹ все еще живы.

Две недели спустя легион оказался в центре другого события, которое — в отличие от смерти царя — косвенно оказало большое влияние на его судьбу. В сражениях, закончившихся 6 августа, чехословаки помогли своим белогвардейским союзникам захватить великий татарский город Казань, а вместе с ним и золотой запас прежнего имперского правительства. Огромное количество золотых слитков стоимостью более 650 миллионов рублей (около 80 миллионов фунтов стерлингов или 330 миллионов долларов) эвакуировали из Петрограда в Самару, чтобы они не попало в руки немцев. Когда белочехи стали угрожать Самаре, большевики перевезли золото на баржах вверх по реке в Казань, и уже в Казани оно досталось чехам.

Это сокровище в будущем окажет влияние на развитие событий в Сибири, сравнимое с введением джокера в карточную игру, до тех пор игравшую

¹⁹ Советские власти говорили о безопасности великой княгини Елизаветы, хотя и не так многословно, как о безопасности царицы. Ее имя не упоминалось в коммюнике о судьбе ее мужа и других великих князей. Однако намекали, что после вооруженной схватки их куда-то увезли неопознанные бандиты — общественность могла вообразить, что их спасли белогвардейцы.

ся без него. Ни один из разнообразных белых режимов не имел сколько-нибудь стоящих упоминания финансовых ресурсов, а потому тот, кто обладал золотом, заметно увеличивал шансы на признание своего главенства. Самарское правительство — Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания — вскоре было замещено другим, известным как Директория, по чьему приказу (поскольку Красная армия серьезно угрожала Самаре) золото было эвакуировано по железной дороге в Челябинск. Пока искали безопасное место для его хранения, представители Западно-Сибирского комиссариата (вскоре прекратившего свое существование) отогнали поезда с золотом в Омск. В Омске бесценный приз оставался более-менее невредимым, пока снова не был отправлен еще дальше на восток и превратился для своих владельцев из достояния в обузу, как и многие огромные сокровища.

Глава 8

«Единственное, с чем все согласны, — телеграфировал Локкарту британский министр иностранных дел Бальфур 11 июня, — это то, что без активного участия Америки невозможно достичь сколько-нибудь впечатляющих успехов в Сибири». Многие недели державы Антанты не предпринимали никаких дипломатических усилий по вовлечению США в активные действия. Однако, когда в начале июля стало известно, что Америка собирается сделать то, к чему ее так давно подстрекали, все всерьез обеспокоились.

И виноват в этом был президент Вильсон. Если юная девица, постоянно отвергавшая ухаживания поклонника, вдруг разошлет в газеты объявление о их помолвке, предварительно не проинформировав его, обожатель — несмотря на то что сбылось его сокровенное желание, — скорее всего, на нее обидится. Именно это — с соответствующими поправками — случилось с Вашингтоном. Неожиданная смена американского курса не только не была согласована с европейскими союзниками, но им сообщили об этой смене лишь на следующий день после того, как решение Вильсона было передано японцам. Чисто по-человечески вполне понятно, почему их уязвило такое грубое поведение. Кроме того, очень недальнорочно было бы с их стороны не распознать серьезных опасностей в этой американской инициативе, которая затрагивала все союзные государства и которую Америка не соизволила согласовать даже со своим главным соратником — Японией. Наиболее точно к поступку президента подходит эпитет «непредусмотрительный», однако государственные деятели Антанты использовали более резкие выражения, в чем вряд ли стоит их обвинять.

Всего несколькими днями ранее Верховный военный совет — чьи полномочия в стратегических вопросах проигнорировал Вильсон — пришел

к выводу, что интервенция Антанты в России и Сибири, главным образом из-за чехословаков, является делом «крайне необходимым и неизбежным». Ллойд Джордж, энергично отреагировавший на новый американский план, заявил британскому послу в Вашингтоне, что в Сибири «началась гонка между немцами и нами... До того как замерзнут русские порты, у нас осталось всего несколько месяцев, и если мы собираемся предотвратить превращение России в германскую провинцию, то должны твердо закрепить там до наступления зимы». Ллойд Джордж назвал президентские предложения «абсолютно неадекватными сложившейся ситуации», поскольку необходима широкомасштабная интервенция, а не присутствие в России всего лишь 14 тысяч американцев и японцев. Франция (в чью армию, как мы помним, входил номинально Чехословацкий легион) столь же рьяно жаждала ввязаться в драку и столь же сильно была разгневана явным желанием Вильсона обойтись без ее услуг.

Итак, началось нечто вроде гонки. Это не было состязание с немцами, которые находились в тысячах километров от скакового круга и в любом случае абсолютно не готовы к борьбе. Это не было соревнование с зимой, ибо — в отличие от архангельского — владивостокский порт никогда не затягивался льдом. Это была гонка держав Антанты. В этой гонке было мало правил, а те, что были, менялись время от времени вместе с предлагаемыми призами. Короче говоря, это была необычная гонка, и вполне объяснимо, что в ней не было победителей — одни проигравшие.

Ллойд Джордж громил предполагаемую американо-японскую авантюру — он называл ее незначительность и скромные цели «совершенно абсурдными»: ситуация, мол, диктовала «отправку войска, которое могло бы (...) решительно оградить Сибирь до самого Урала от германо-большевистского нападения». Со всей очевидностью следовало, что ничтожный проект Вильсона стоит на пути более солидного и выгодного проекта. Однако это не соответствовало действительности. Ни на одном этапе ни одна из союзных держав, кроме Японии, не могла послать в Сибирь более нескольких сотен солдат; до перемирия с Германией им мешали неотложные военные дела, а после — внутривосточные соображения. Хотя американцы предоставили в десять раз меньше солдат, чем Япония, их 7-тысячный контингент был больше британского, французского и итальянского, вместе взятых.

Что касается выработки политического курса, неожиданное и одностороннее решение президента давало Америке преимущество перед другими союзниками на начальном этапе, однако британские войска прибыли к месту действия первыми.

25-й батальон Мидлсекского полка получил приказ передислоцироваться из Гонконга во Владивосток через день или два после того, как американские предложения стали известны в Лондоне. Его перемещение, по существу,

ву, было язвительным, хотя и малозначительным ответом американскому правительству. Этот головной империалистический отряд, состоявший из людей, классифицированных В1 (то есть непригодных к действительной военной службе), остальной британский личный состав в Сибири нежно называл «грязевым батальоном». «Бедняги. Их вообще не следовало присылать сюда, — отмечал в своем дневнике один из британских офицеров. — Они практически никуда не годились, когда появились здесь, и совершенно бесполезны теперь». В батальоне не было ни палаток, ни — еще более серьезное упущение — москитных сеток, их зимний гардероб составляли черные как уголь меховые куртки и шапки, не лучший выбор для войск, которые должны были сражаться среди снегов²⁰. Батальоном командовал полковник Джон Уорд, член лейбористской фракции парламента из города Сток-он-Трент и один из инициаторов профсоюзного движения. Молодой офицер из персонала британской военной миссии прозвал его «хвастуном», и, вероятно, в этом был элемент истины, однако Уорд, кадровый солдат еще довоенных времен, был стойким и прямолинейным, типичным англичанином. Он опубликовал ценный, но не очень достоверный отчет о своих сибирских впечатлениях, в которых Омск оказался чуть ли не единственным правильно написанным географическим названием, не говоря уж о фамилиях.

Батальон, щеголявший тропическими шлемами, высадился во Владивостоке 3 августа и был восторженно встречен всеми, кроме угрюмых японцев, авангарда 12-й дивизии, вскоре тоже сошедшей на берег. Французы — колониальный батальон из Индокитая численностью 1150 человек — появились, чуть ли не наступая им на пятки. 27-й пехотный полк США прибыл с Филиппин 16 августа, 31-й пехотный полк — несколько дней спустя. Японский десант, за которым с бессильной тревогой наблюдали из Вашингтона, высаживался постоянно. К 21 августа Япония, заключившая соглашение с Китаем, взяла под свой контроль всю Восточно-Китайскую железную дорогу и уверяла, что эта мера предосторожности «не имеет никакого отношения к происходящей в данный период совместной интервенции во Владивостоке». Правительство Соединенных Штатов, с огорчением осознавшее, что оказалось в положении профессора Франкенштейна и все протесты, обращенные к созданному им чудовищу, лишь усугубят ситуацию, телеграфировало своему послу в Японии, что «не собирается ни одобрять, ни осуждать действия Японии в Маньчжурии».

Кроме генерала Отани, который командовал японцами и некоторое время считался командующим всеми остальными, военные представители Антанты высшего ранга прибыли на место довольно поздно. Первым явил-

²⁰ История полка практически буквально повторилась в 1950 г., когда 1-й батальон Мидлсекского полка был поспешно переведен из Гонконга в Корею, одетый в шорты и легкие рубашки, и оказался совершенно неприспособленным к боевым действиям в суровом горном климате.

ся американский генерал Уильям Сидни Гревс. За два дня до его прибытия (2 сентября) Чехословацкий корпус из Владивостока соединился в Забайкалье с основным контингентом легиона. Главная и почти единственная военная роль, отведенная Гревсу президентом в *Памятной записке* — то есть охрана тылов чехословаков, действовавших из Владивостока, — таким образом была снята с повестки дня.

По этому поводу Гревс впоследствии заметил: «Американским войскам в общем-то не оставалось ничего, кроме как выполнять мои инструкции, главившие, что единственная законно обоснованная цель американских и союзных войск — охранять военные склады, которые могли понадобиться русским войскам». Но каким русским войскам — генерал понятия не имел. «Стоило мне выделить рубашку какому-нибудь русскому, — жаловался он впоследствии, — как меня тут же подвергали обвинению в том, что я помогаю стороне, к которой принадлежит получатель сей рубашки».

Сложную проблему Гревс пытался решить, применяя к запутанной ситуации самые твердые принципы невмешательства. Например, он настоял на том, чтобы американским войскам, охранявшим железную дорогу, не разрешалось открывать огонь, пока вероятные цели не начинали по-настоящему разрушать железнодорожную собственность. Хотя на практике младшие офицеры относились к своим обязанностям более реалистично, лицемерный нейтралитет генерала Гревса, по существу не позволявший ему сотрудничать с кем бы то ни было в чем бы то ни было, принес ему всеобщую непопулярность. И это в сочетании с глубоким недоверием ко всем союзникам, всем русским и большей части персонала собственного консульства со временем вызвало у генерала легкую форму мании преследования. Неприятное положение, в которое попал сей достойный и честный офицер, может служить предупреждением: военным не следует напрямую получать приказы от политиков.

Генерал-майор Альфред Нокс, глава британской военной миссии, добрался до Владивостока через несколько дней после генерала Гревса. Во всех войсках всех государств Антанты трудно было найти офицера, который знал бы о России меньше Гревса, и такого, кто знал бы больше, чем Нокс. Нокс работал военным атташе в Петрограде в 1910 году и на ту же должность вернулся в 1914 году; он следил за судьбами армий империи от Танненбергского сражения²¹ до большевистской революции. Способный офицер, энергичный и резкий, он с самого начала был очень влиятельным сторонником интервенции. Он также хорошо владел русским языком.

Его ненависть и презрение к советскому режиму, естественно, вытекали из личного опыта. Советы уничтожили армию, с которой Нокс до какой-то

²¹ Часть так называемой Восточно-Прусской операции (август–сентябрь 1914 г.), в ходе которой были окружены два корпуса 2-й русской армии. (Примеч. ред.)

степени себя отождествлял, убили многих мужчин и некоторых женщин, которые были его друзьями. Его взгляды, разделяемые широкими армейскими кругами Британии и Франции, в Вашингтоне почему-то принесли ему славу махрового реакционера, чье присутствие в Сибири могло придать политике Антанты монархическую окраску. Поэтому Нокса проинструктировали проехать через Америку как можно незаметнее. Однако он все же повидался с полковником Хаусом, и, похоже, встреча прошла хорошо. («Если бы все американцы были похожи на Хауса, с ними было бы легко иметь дело», — записал Нокс 18 июля.) В тот же самый день в Токио Виктор Казале отметил в своем дневнике: «Американцы думают, что Нокс — единственный неприимый противник в России». Я так и не смог проследить корни широко распространенного среди американцев предубеждения против Нокса.

Именно в Токио Нокс нашел Колчака, которого едва знал, но глубоко уважал. Бенеш (не знакомый с Колчаком) по каким-то причинам в середине августа оживил интерес Лондона к Колчаку. В ответ на запрос британский посол в Токио сообщил, что адмирал «человек честный и знающий, но раздражительный. Если он намерен ссориться с японцами, то я не вижу, как его присутствие может улучшить ситуацию». Похожий обескураживающий доклад министерство иностранных дел получило и из Владивостока.

Однако на Нокса Колчак сразу же произвел неизгладимое впечатление. Несколько месяцев спустя генерал записывал: «Он обладает двумя качествами, необычными для русского: вспыльчивостью, вселяющей благоговейный ужас в его подчиненных, и нежеланием говорить просто ради того, чтобы поболтать». Сам Нокс был радушно встречен японским Генеральным штабом и воспользовался благоприятным моментом, чтобы поднять, как он прекрасно понимал, очень щекотливый вопрос о службе Колчака в Сибири. В Военное министерство Нокс телеграфировал: «Без сомнения Колчак лучше всех русских подходит для нашей цели».

Японцы не выдвинули никаких возражений, однако Нокс посоветовал Колчаку остаться в Токио до тех пор, пока он не прозондирует почву во Владивостоке. Существовало серьезное препятствие в виде старого врага Колчака Накадзимы, и адмирал, по совету Нокса, не спешил покидать Токио. Однако к середине сентября путь был свободен — Колчак пересек Японское море и снова, после годичного отсутствия, ступил на русскую землю. У него не было ни официального назначения, ни определенных планов, а было очень мало денег. За две недели до прибытия он говорил британскому послу, что подумывает о поездке в Архангельск; теперь он решил, или, может быть, почти решил, отправиться в белогвардейский анклав в Южной России, где под Одессой — насколько он знал — жили под вымышленными именами его жена и девятилетний сын. 21 сентября он отправился по Транссибирской железной дороге в личном вагоне с Рудольфом Гайдой, порывистым

молодым командиром, уже игравшим в Чехословацком легионе роль предвестника бури.

Все столь глубоко поверили в выдумку о крупномасштабных действиях Германии в Сибири, что в тот день, когда Колчак покинул Владивосток, британский генеральный консул все еще призывал «обратить все внимание чехословаков на борьбу с немцами». Реальные немцы, не в пример воображаемым, признали поражение за пять дней до того, как 16 ноября последний из генералов Антанты сошел на землю во Владивостоке.

Генерал Морис Жанен обладал весьма высоким самомнением, и этот маленький изъян, заставивший его прервать путешествие сначала в Вашингтоне, а затем в Токио, дабы встретиться со всеми влиятельными людьми, включая президента Вильсона и императора Японии, был главной причиной его позднего прибытия в Сибирь; он получил свои приказы в Париже всего через несколько дней после того, как Нокс получил свои в Лондоне.

Жанен был для французской армии примерно тем же, что Нокс — для британской, то есть главным знатоком России. Еще в 1893 году его прикомандировали к русской миссии, посетившей Францию, и с тех пор он неоднократно по долгу службы ездил в Россию, в том числе и как инструктор Санкт-Петербургской военной академии. В начале войны Жанен в чине командира бригады воевал на Марне и Изере, затем был переведен в штаб и в 1916 году возглавил французскую военную миссию в России. Он обожал заявлять, довольно безответственно, что имеет двадцатилетний опыт ведения дел с Россией, гораздо больший, чем восьмилетний опыт Нокса. Жанен был полноват, шеголеват, умен и честолюбив.

Его роль считалась крайне важной, во всяком случае на бумаге, ибо Чехословацкий национальный совет назначил его командовать Чехословацким легионом «в соответствии с общими директивами японского Верховного командования»; одновременно Жанен возглавлял французскую военную миссию; под его юрисдикцию, весьма расплывчато определенную, подпадали польские, югославские, румынские и другие группы, которые после того, как русские потеряли контроль над лагерями военнопленных, самостоятельно формировались в военные отряды — в основном в целях самосохранения.

Вероятно, имеет смысл остановиться и в общих чертах изучить причудливый узор, образованный способами командования и разделением ответственности между силами Антанты и белогвардейцами в Сибири.

1. В Версале приняли решение о том, что Верховное командование всем предприятием должно оставаться в руках японцев, *но*

2. Японцы не должны продвигаться западнее Иркутска, и вряд ли они могли вести бои на Волжском фронте, находясь на расстоянии в тысячах километрах от него; *и в любом случае*

3. Американцы не считали себя обязанными подчиняться японцам.

4. Старшие французский и британский офицеры Жанен и Нокс технически не командовали французским и британским контингентами, но с их мнением обязаны были считаться.

5. Белогвардейское правительство (Омск и Самара организовали неустойчивую коалицию, известную как Директория) имело собственное Военное министерство — по сути, Военно-морское — и не без оснований считало себя ответственным за все военные действия в Сибири.

6. Чехословаки, которые в действительности одни только до сих пор и воевали, не считали необходимым и не имели никакого желания подчиняться чужестранцам.

По сравнению с этими запутанными и неработоспособными военными договоренностями средства, которыми союзники стремились укрепить свое политическое влияние, были относительно просты и прямолинейны. Францию, Британию и Японию представляли верховные комиссары. У Америки по различным необъяснимым причинам верховного комиссара не было. В начале Госдепартамент полагался на генерального консула во Владивостоке и доверял ему излагать мнение США на международных совещаниях, а позднее отправил посла США в Токио с особой миссией в Сибирь. Интересы Чехословацкой республики (Франция первая признала ее самостоятельным государством 15 октября 1919 года, а затем ее признали и другие союзники) представляла маленькая хунта молодых политиков, редко встречавшихся друг с другом.

В этом наброске не приняты во внимание такие опасные аномалии, как непримиримый Семенов, не признававший ничьего авторитета, и две соперничавшие американские организации (Железнодорожный корпус и Консультативная комиссия), в обязанности которых входило восстановление Транссибирской железной системы — от нее в конечном счете все и зависело. Бесконечные разговоры позволяли предположить: даже если союзники и пришли к соглашению относительно того, чего они пытались добиться в Сибири, механизм достижения цели был так плохо сконструирован, что все их усилия были обречены на провал с самого начала. Фиаско было единственно возможным исходом. Неспособность почувствовать и даже заподозрить это объяснялась в большой степени событиями, произошедшими в Омске в середине ноября. Благодаря этим событиям перспективы интервенции не только в Сибири, но и на других театрах военных действий представлялись в новом, более оптимистичном свете, о чем мы поговорим в 10-й главе.

Глава 9

13 октября после долгого путешествия Колчак прибыл из Владивостока в Омск. Ситуация в городе показалась ему «крайне напряженной». Четырьмя днями ранее в Омск прибыла Директория — нечто вроде руководящего комитета из пяти человек, облеченных верховной государственной властью с целью объединения правого Сибирского правительства с их соседями левого толка из Самары. Директория, втиснутая, как Соня между Сумасшедшим Шляпником и Мартовским Зайцем [*Кэрролл Льюис. Приключения Алисы в Стране чудес. — Примеч. пер.*], не доверяла ни одной из фракций, которые, как предполагалось, она представляла. Компания посредственностей, не обладавших исполнительной властью, была конституционной причудой, слишком хрупкой структурой для выживания в бурях Гражданской войны. Размещалась Директория в железнодорожных вагонах (что уже стало дурным предзнаменованием).

Колчак не был знаком ни с кем из омских руководителей, однако было в нем нечто — «нечто царственное», как сформулировал один британский профессор-романтик, — что подстегивало окружающих вручить ему власть. Претендентов на власть в Омске было предостаточно, а Колчак не принадлежал ни к одной из соперничавших группировок, и все же буквально через несколько дней его убедили против его воли согласиться на пост военного и военно-морского министра²². Его основным поручителем был генерал Болдырев, главнокомандующий и член Директории. 9 ноября, очень недовольный политической ситуацией в Омске, Колчак отправился в инспекционную поездку на фронт. Два дня спустя немцам даровали перемирие, и война на Западе подошла к концу.

Ситуация на фронте за последние два месяца очень сильно ухудшилась. 10 сентября красные взяли Казань, а через месяц — Самару. Народная армия, сформированная в Самаре правительством социал-революционеров (эсеров), была плохо организована и труслива; Сибирская армия Омска еще ни разу не побывала в боях. Однако самые мрачные изменения коснулись чехов. Легион — «подуставший от добрых дел», как сформулировал Черчилль, — отказывался от участия в Гражданской войне.

Уже 16 сентября Нокс докладывал, что чехословаки «на последнем издыхании». Три недели спустя британский офицер связи в Челябинске отзывал-

²² Кроме нескольких самодельных канонеров на больших реках и нескольких военных кораблей во Владивостоке, естественно, никакого русского военного флота в Сибири не было. Однако там слонялось множество морских офицеров — их необходимо было регистрировать, им надо было выплачивать жалованье, ими надо было управлять.

ся о них как об о «совершенно измотанных (<...>) деморализованных». К концу октября один из полков 1-й чешской дивизии отказался подчиниться приказу об отправке на фронт, а вновь назначенный командир дивизии, храбрый человек по фамилии Свеч, покончил жизнь самоубийством. 2 ноября чешский главнокомандующий генерал Сыровой телеграфом послал Жанену в Японию тревожный доклад о состоянии обеих своих дивизий — о необходимости вывести их с передовой, дать отдых и очистить от агитаторов.

Чехи были деморализованы по ряду причин. Легион, небольшой по численности, непрерывно участвовал в боевых действиях с конца мая. Действия эти состояли в основном из перестрелок и мелких столкновений, но солдаты несли потери и постоянно ощущали опасность, а на пополнение рассчитывать не могли. Особенно тяжело приходилось войскам на Волжском фронте. По сатанинскому приказу Троцкого численность Красной армии стремительно увеличивалась; ее боевые качества росли медленно, но верно. В начале сентября в ее рядах уже насчитывалось 550 тысяч человек, почти в два раза больше, чем во время челябинского инцидента.

Если находившиеся на фронте чешские войска были измотаны и недоукомплектованы, то отряды, спешившие на запад для их пополнения после освобождения Транссибирской магистрали, выглядели ничуть не лучше. Многие из тех солдат боями проложили себе путь от Урала до Забайкалья, и возвращение ради того, чтобы похоронить себя в центре России, совершенно не экипированными для зимней кампании, — слишком серьезное испытание даже для самых стойких. «Мы не испытывали особого энтузиазма перед лицом грядущих сражений», — записывал молодой офицер из 6-го полка, который, с боями пробившись из Челябинска к границе Внешней Монголии, потом вдруг оказался в Екатеринбурге. Когда же начались боевые действия, тот же офицер осознал, что «они очень сильно отличаются от сражений на востоке... Легион постепенно погружался в депрессию, росло ощущение несправедливости».

Чехи считали, что их покинули в беде. По мере того как они с тоской размышляли о своих обидах, разочарование уступало место озлоблению. Союзники никогда не давали им многословных обещаний о скорой помощи, но им позволяли, их даже поощряли делать подобные выводы. Никакой помощи они так и не получили. Их удостоили чести — 10 ноября в Екатеринбурге — взглянуть на полковой оркестр 25-го батальона Мидлсекского полка, но к тому времени отношение чехов к Антанте невозможно было смягчить отрывками из оперетт Салливана и Гилберта (Салливан — английский композитор, автор оперетт, написанных в содружестве с драматургом Гилбертом. — *Примеч. пер.*). Их чувства, хотя не совсем обоснованные, были вполне естественными.

Кроме всего прочего, чехам до смерти надоели русские. Много говорилось об идеологических различиях между демократически настроенными чехами и реакционным режимом Омска — их отказ продолжать борьбу преподносился как прямое следствие захвата Колчаком верховной власти. Об обстоятельствах прихода Колчака к власти мы еще поговорим, однако безразличие чехов к Гражданской войне начало проявляться за несколько недель до этого события, и они тогда уже начинали воздерживаться от активных боевых действий. Гайда, который в середине сентября вернулся во Владивосток и несколько дней провел на борту «Суффолка» в качестве личного гостя коммодора Пейна, называл положение легиона критическим, а свои войска — истощенными.

Вряд ли стоит подвергать их политическую искренность сомнению, однако публичные протесты (как, например, протест Чехословацкого национального совета от 22 ноября), которыми чехи встретили государственный переворот, вероятно, отчасти были инспирированы личным чувством. Так или иначе, чехи приняли решение отказаться от боевых действий в России, и насильственное свержение режима, под знаменем которого (или под одним из двух знамен которого) они прежде служили, давало им повод оправдать свое решение политическими принципами.

Если смотреть правде в глаза, чехи и ранее не симпатизировали даже самарскому правительству, которому они не приносили присягу и которое оказалось кучкой многословных, драчливых и неудачливых доктринеров. Отказ легиона от боевых действий главным образом подверг опасности правительственные войска, Народную армию, выступавшую под красными флагами. Антипатия к режиму Колчаку усилила решимость чехов (если ее еще было необходимо усиливать) не *возвращаться* на фронт. Утверждения, что они *покинули* фронт, не выдерживают никакой критики.

По существу, чехи были сыты по горло «славянскими братьями» как товарищами по оружию, независимо от политического мировоззрения этих родичей, навязанных им Вильсоном. Они насмотрелись на офицеров, нашедших «тепленькие местечки» в тылу, звеневших шпорами²³, роскошно одетых и окруженных женщинами, занятых развлечениями и интригами в городах, далеких от линии фронта. Они слишком много слышали о Семенове и Калмыкове. «Эти люди нужны на фронте, мы имеем право потребовать, чтобы они были здесь», — настаивала официальная чешская газета. Чехи слишком часто страдали от отсрочек обещанного, нарушенных обязательств, всеобщей безответственности, свойственных тому периоду. Их войска неуклонно редели из-за отсутствия пополнения, а войска их русского союзника,

²³ «Звон русских шпор, — отмечал один британский офицер, — напоминает звон жестяной табакерки, если ее наполнить камушками и потрясти» [Вайнинг А. И. В большевистском плену].

имевшего огромные резервы живой силы, — из-за постоянного дезертирства. За месяц до падения Самары из Самарской стрелковой дивизии дезертировали 3 тысячи человек. Нескольким храбрым русским офицерам — среди них Ушаков, Каппель и Войцеховский — чехи доверяли, за ними следовали, ими восхищались. Однако главный урок, усвоенный ими после челябинского инцидента в конце мая, заключался в том, что в Гражданской войне следует ни на кого не полагаться и ни от кого не зависеть. Чехи были практичными людьми и больше не хотели принимать участие в кровавом фарсе.

Кроме всего вышеперечисленного, на точку зрения чехов сильно влияли события в Европе. Австро-Венгерская империя рухнула; бескровная революция, происшедшая в Праге 28 октября, установила власть Чехословацкой республики над древней столицей в Богемии. Легион более не состоял из людей, не имеющих гражданства, «солдат удачи», дезертиров, которых на родной земле поджидали расстрельные команды. Даже когда их пунктом назначения была кровавая баня на Западном фронте, они стремились вырваться из России, теперь же их стимул был в сотни раз сильнее. Они видели, что их далеко позади оставили люди, которые заслужили гораздо меньше, а получили от республики гораздо больше — работу, землю, возможности. Они хотели домой, и как можно быстрее.

Во время совместного путешествия из Владивостока Гайда обрисовал Колчаку ситуацию в легионе, хотя и несколько устаревшую (поскольку Гайда отсутствовал на фронте почти месяц), но весьма точную и далеко не обнадеживающую. Колчак и прежде считал легион негодным материалом, не делая при этом никаких скидок на испытания, им перенесенные. В Омске Верховный главнокомандующий Болдырев говорил Колчаку, что «чехи бросают фронт и не желают больше драться». Адмирал стал свидетелем того, как двое политических представителей легиона требовали назначить в Сибирское правительство нескольких кандидатов, чьи политические взгляды их не устраивали; они угрожали, что в противном случае «чешские войска оставят фронт».

У Колчака сформировалось вполне обоснованное мнение, что представители легиона «играют, что они и без этого фронт оставили бы» или, другими словами, что они изобретают политический предлог для того процесса, который они не могут и не желают остановить. Адмирал решительно возражал против применения угроз (и к тому же пустых), попыток «вмешательства в наши внутренние дела». Того же мнения придерживались все остальные, и кандидаты в правительство получили назначение.

В общем, утвердившись в предубеждении против чехов, Колчак 9 ноября выехал из Омска на фронт, где первой его официальной миссией было появление на военном параде четырех полков легиона в Екатеринбурге. Осветили новые знамена, британцы наградили чехов своими орденами и меда-

лями, а вечером на банкете Колчак произнес основополагающую речь. Все на первый взгляд прошло успешно, однако Колчак обнаружил, что старшие русские офицеры весьма враждебно относятся к легиону. На самом деле эти люди должны были винить в происходящем только себя и своих политических лидеров, поскольку именно они не сумели собрать адекватные силы для поддержки чехословаков и в конечном счете решения их участи; а ведь главным образом именно из-за этого легион и стремился выйти из игры. Будь на месте Колчака человек с более широким мировоззрением и непредвзятым суждением, он понял бы это и отнесся к чехословакам с заслуженным ими уважением. Однако Колчак остался в плену предвзятого мнения и в ущерб самому себе затаил злобу на легион. Несколько месяцев спустя британский верховный комиссар сэра Чарльз Элиот докладывал в министерство иностранных дел: «Я был потрясен грубостью и неблагодарностью, с которыми Колчак говорил о чехословаках. Он сказал, что от них никакого толка и чем быстрее они уберутся, тем лучше». Генералу Жанену Колчак выразил свое мнение еще резче. Эта необоснованная антипатия, о коей чехословаки были прекрасно осведомлены, в конце концов дорого обошлась адмиралу.

На парад в Екатеринбург Колчака сопровождал полковник Уорд с сотней отборных солдат своего батальона и полковым оркестром. Когда Уорд высадился во Владивостоке, среди прочего Мидлсекскому полку было приказано «не участвовать в боевых действиях за пределами окрестностей порта без согласования с Военным министерством». Однако едва солдаты сошли на берег, как — с санкции Военного министерства — более половины батальона передислоцировали по железной дороге к северу от Владивостока для участия в запутанной, но успешной операции в местечке под названием Краевск. Здесь британцы — как и чехи, французы и казаки Калмыкова — сражались под командованием японцев. Цель Японии, насколько понимал каждый, состояла в том, чтобы вся слава досталась ее собственным войскам. Японцы потеряли более 600 человек, Мидлсекский полк сильно страдал от комаров и перегрева, но не потерял ни одного человека под жестоким, хотя и беспорядочным огнем противника.

Больше полк в бои не вступал и отправился в Омск не для военных действий, а для демонстрации британского присутствия. После Екатеринбурга подразделение Уорда, все еще сопровождавшее Колчака, мельком появилось на линии фронта — вернее, перед ней — близ Кунгура, причем, как выразился полковник, «при температуре, совершенно не пригодной для британских военных операций». Там, под защитой ограждения из обрезков железнодорожных рельсов, оркестр сыграл «Полковника Боуги» и «Типперэри», чем навлек на себя артиллерийский обстрел Красной армии. Все снаряды, по словам Уорда, «взорвались в лесу, не причинив никакого вреда», од-

нако глупая выходка оркестра не могла понравиться войскам, защищавшим тот сектор. Описание этого эпизода оставил один чешский офицер: «Британское подразделение проворно отошло к станции, проворно погрузилось в поезд, и так же проворно локомотив, дав гудок, вывез отряд из опасной зоны, оставив большевиков в отвратительном настроении, кое они и выместили на нас. Демонстрация закончилась, и единственное, чего она достигла, так это снабдила наших пессимистов обширным материалом для множества не слишком лестных замечаний».

В начале интервенции в Уайтхолле и даже во Владивостоке много говорилось об «умиротворяющем» влиянии небольших отрядов союзников в Сибири. Любая из союзных держав верила, что ее национальный престиж повышается в глазах русских каждый раз, как один из ее отрядов, аккуратный и полностью экипированный, марширует по улице какого-нибудь русского городка. Какой вздор! Да, первых иностранных солдат, спустившихся на набережные Владивостока, встретили приветственными возгласами и взмахами платочков, но как только стало ясно — а это произошло довольно скоро, — что эти войска явились не сражаться, они потеряли свой романтический ореол и стали объектами насмешек и презрения. Высокое качество их экипировки, шеголеватость мундиров и щедрое денежное довольствие вызвали не благоговение, а зависть. Они стали действующими лицами не отчетов о боевых действиях, а карикатур.

6 октября один из британских офицеров во Владивостоке записал: «Теперь, когда цели их стали известны, американцы превратились в посмешище». Это близко к истине, однако лучше стать посмешищем в тылу, чем опозориться на фронте. Таковой, как мы увидим, была несчастливая звезда британских войск в Сибири. Когда отдаленным городам, в которых они квартировались, стали угрожать передовые отряды Красной армии, британцы удрали со стремительностью, подорвавшей и престиж их страны, и боевой дух русских.

Назначение солдата — участие в боевых действиях. Посылать солдат на театр военных действий на условиях, которые буквально препятствуют им выполнять эту функцию, значит ставить их и в конечном счете пославшее их правительство в двусмысленное и безвыходное положение. Америка первой решила послать свои войска в Сибирь; им было приказано, как можно меньше вступать — а если возможно, вообще не вступать — в сражения. Если бы Америка заняла выжидательную позицию, то не исключено, что ни одно формирование иностранных солдат не опозорилось бы само и не осложнило бы ситуацию в Сибири, что западные союзники ограничились бы, как в случае с Деникиным в Южной России, отправкой военных миссий и технических экспертов, что Япония полагалась бы только на своих генералов, своих марионеток и своих «добровольцев».

Однако, как только выяснилось, что на подходе один из союзных континентов, все остальные союзники тут же последовали его примеру. Кое-кто в Лондоне и Париже надеялся, что эти смехотворные по численности части станут авангардом широкомасштабной экспедиции, другие видели в этой затее безумие и вред. Никто в точности не понимал, что делает, зачем делает и к чему это может привести. А привести это могло к чему угодно.

Лишь один вариант, как оказалось впоследствии, самый разумный, не посылать вообще никаких войск, вовсе не обсуждался. Но как в июле 1918 года кто-либо мог понимать, какой образ действий самый разумный? И как любая из западных союзниц могла следовать этим курсом, даже если бы разумность его была очевидной?

Такая политика продемонстрировала бы черствое равнодушие к судьбе чехов. И предположим, что спасение чехов косвенно привело бы к возрождению России? Как тогда эта великая держава, возродившаяся и преобразованная, посмотрела бы на союзницу, чьи войска отсутствовали на полях сражений, где немцы и большевики встретили бы свое поражение?

Гордый американский президент, сам того не сознавая, призвал: «Господа, делайте ваши ставки!»

Никто, кроме Японии, не мог позволить себе делать ставки, но никто и не мог позволить себе отказаться, и все они вступили в игру.

Глава 10

Колчак вернулся в Омск вечером 16 ноября. Его поезд, в котором также ехали полковник Урд и его Мидлсекский полк, был остановлен в Петропавловске, чтобы дожидаться прибытия Болдырева, похожего на медведя главнокомандующего, направлявшегося на фронт. Колчак и Болдырев совещались пять часов. Из осторожных комментариев Колчака после окончания совещания Урд сделал вывод, что обсуждались полномочия и обязанности адмирала как военного министра. Впоследствии Урд отмечал: «Я подозревал, что обе правительственные группировки серьезно взялись за дело и что каждая решила уничтожить другую». Урд подумал, что жизнь Колчака в опасности, и приказал своим людям зарядить винтовки.

Омский нарыв созрел и готов был вот-вот прорваться. Директория сменила железнодорожные вагоны на городские квартиры, а для управления «государственным кораблем» заняла здание гимназии, однако ее мнение значило в делах не больше чем кукование кукушки стенных часов в шумном кабаке. Совет министров правого толка, принимая решения, все реже использовал Директорию даже для их утверждения. Ничто не работало, никто не знал своего истинного места, город наполнился слухами и интригами, под

угрозой был общественный порядок. Русские питали все большее отвращение к самим себе, а когда такое случается, они либо впадают в апатию, либо прибегают к крайним мерам. В Омске было полно причин для отвращения и недовольства, и казалось, что в любой момент посреди Гражданской войны разразится еще одна Гражданская война.

Некоторое время поговаривали, особенно в военных кругах, о диктатуре, и 17 ноября, на следующий день после возвращения Колчака с фронта, к нему обратились офицеры из Ставки: они заявили, что Директория доживает последние дни и «необходимо создание единой власти». На вопрос Колчака, как они представляют эту новую единую власть и «кого предполагают на это место выдвинуть для того, чтобы была единая власть», офицеры открыто высказали свое мнение: «Вы должны это сделать».

Колчак отказался. Он считал, что ему, как действующему офицеру, неприлично связываться с таким проектом. В любом случае за ним не было армии и он был новичком в сибирской политике. В тот же день он заявил Совету министров, что намеревается подать в отставку с поста военного министра, как только Болдырев вернется в Омск. Затем он либо отправится на фронт, либо посвятит всего себя Морскому министерству.

Двумя неделями ранее один из членов Директории написал своим коллегам-социал-революционерам в Екатеринбург: «Каждое утро мы сидим и ждем, что придут нас арестовывать». В ночь с 17 на 18 ноября их предчувствия оправдались. Авксентьев, автор письма, и Зензинов, второй представитель социал-революционеров в Директории, с пятью другими членами их партии находились в квартире заместителя министра внутренних дел Роговского, также социал-революционера. Как у всех министров в те беспокойные времена, у Роговского была охрана, но это не помешало казакам атамана Красильникова, смутьяна несколько меньшего калибра, чем Семенов, ворваться в его дом. Казаки арестовали Авксентьева, Зензинова, Роговского, еще одного гостя и сопроводили их в штаб-квартиру Красильникова, разместившуюся в Сельскохозяйственном институте на окраине Омска.

Члены правительства узнали о похищении ранним утром 18 ноября, но о судьбе похищенных ничего известно не было. На шесть часов утра назначили внеочередное заседание. Генералы и политики в полной темноте пробирались к большому дому рядом с кафедральным собором, который при царизме был резиденцией губернатора. Для общего отношения к Директории, господствовавшего в Омске, характерно то, что ни один из собравшихся министров не предложил предпринять никаких штрафных санкций против Красильникова и его казаков. «Одни предложили, — вспоминал Колчак, — считать факт ареста ничего не означающим, тем более что три члена Директории, большинство, остается... Второе мнение было таково, что Директория после того, что случилось, остаться у власти не может... Раз члены

правительства подверглись аресту и не могли этому противодействовать ⟨...⟩ они должны сложить с себя полномочия. Раз они арестованы, то тем самым они перестают быть властью».

Невозможно было бы более ясно сформулировать свою позицию: фактические правители Омска, по сути, объявили, что считают своих официальных правителей расходным материалом, не представляющим ценности. Один из трех уцелевших членов Директории подал в отставку и покинул здание. Теперь Директорию, состоявшую из пяти человек, — а Болдырев отсутствовал, — представлял на заседании лишь один из ее членов, достойный адвокат П. В. Вологодский. В последовавшей дискуссии никто не прислушивался к его претензиям на верховную власть.

Ликвидация Директории хотя и казалась популярной мерой, едва ли была конструктивной. После двух часов разговоров министры поняли, что время не терпит. В Омске еще царило спокойствие, но министрам доложили, что казаки находятся в полной боевой готовности, улицы патрулируются бдительными казачьими разъездами. Невозможно было предсказать, как проснувшийся город отреагирует на неизбежные слухи. «Поднялся вопрос о том, — вспоминал Колчак, — что если такое неопределенное положение продолжится, то можно ожидать каких-нибудь крупных и серьезных событий».

В этот момент кто-то заявил, что единственно верным решением является военная диктатура. Предложение было принято практически единогласно, и тут же выяснилось, что большинство присутствующих считает Колчака единственным подходящим кандидатом. Сам адмирал поддержал кандидатуру Болдырева, который и на германском фронте командовал армией и теперь как главнокомандующий пользуется доверием войск, и с политической точки зрения к нему нет серьезных претензий. Про себя же Колчак сказал, что он, мол, новичок в Сибири и армии, как командир неизвестен. Следовательно, Болдырев — более надежный выбор.

Колчак не был лицемером, и нет причин подвергать сомнению искренность его доводов, хотя они основывались не столько на вере в Болдырева, сколько на собственном нежелании занять предложенный пост. В письме жене, написанном вскоре после того совещания, Колчак говорил о пугающем бремени верховной власти и о себе как о воине, не желающем решать проблемы государственного управления.

Когда Колчак закончил свою речь, председательствующий на совещании Вологодский сказал, что мнение Колчака будет принято во внимание, и предложил адмиралу, во избежание неловкости, покинуть зал на время обсуждения столь близко касающегося его вопроса. Колчак покинул зал заседаний и довольно долго просидел в кабинете Вологодского. В конце концов к нему пришли и объявили, что Совет министров решил перейти в подчинение верховного правителя и предложить этот высокий пост Колчаку. Колчак

вернулся на заседание, и Вологодский зачитал эти решения официально. Колчак, по его словам, «увидел, что разговаривать не о чем, и дал согласие».

Позже в тот же день он подписал следующий декрет:

1. Сего числа постановлением Совета министров Всероссийского правительства я назначен верховным правителем.

2. Сего числа я вступил в Верховное командование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России.

В воззвании к народу он заверил: «Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного расстройтва государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю: создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка».

Пока верховный правитель набрасывал эти обнадеживающие слова, пулеметы Мидлсекского полка сторожили подступы к Ставке и правительственным зданиям. В городе все еще было спокойно.

Мы никогда не узнаем всей правды об этом *государственном перевороте*. Не ручаясь за достоверность, можно предположить, что если Красильников не расстрелял своих пленников на месте (убийства по политическим и разным другим мотивам случались в Омске почти каждую ночь), то его кто-то сдерживал и он действовал по поручению людей, не столь безответственных и бессердечных, как он сам. Но что это были за люди и чего они желали добиться свержением Директории, выяснить невозможно.

Однако, надо полагать, сам адмирал никоим образом не был вовлечен в заговор и даже не подозревал о нем. Колчак вернулся в Омск менее чем за тридцать шесть часов до арестов. По природе своей он не был заговорщиком, у него не было в Омске друзей или соратников, которые могли бы устроить заговор. Хотя свидетели расходятся в том, когда Колчак узнал о похищении, ясно, что он ничего не знал о судьбе пострадавших по меньшей мере несколько часов. Пожалуй, адмирал — единственный член Совета министров, о ком можно определенно сказать: он не причастен к внезапному удару Красильникова.

Французы тогда же заявили, а русские повторили, что переворот осуществили британцы, и в свете этих заявлений роль, сыгранная британцами, представляет определенный интерес.

Самое конкретное обвинение предъявил генерал Жанен. В докладе французскому военному министру в июне 1920 года он написал, что британцы «поставили» Колчака, так как им нужно было «собственное правительство», которое предоставило бы им экономические концессии в Туркестане. «Англичане вместе с группой русских офицеров-монархистов, — продолжал Жанен, — организовали *государственный переворот*, последствия коего оказались гибельными для Сибири». В своих мемуарах, опубликованных на

чешском языке в 1923 году и на французском (в несколько ином варианте) пять лет спустя, Жанен утверждал, что генерал Нокс провел необходимую подготовку в конце октября, когда находился в Омске, и что один из офицеров Нокса, капитан Стевени, принимал участие в детальном планировании *переворота*. Аналогичные, но менее подробные обвинения появились в книгах, написанных Нолансом, послом Франции в России. Советские пропагандисты — и в меньшей степени советские историки — использовали эти свидетельства в своих целях.

По чистой случайности установлены некоторые факты. Кроме полковника Уорда и офицеров его батальона 16 ноября накануне *переворота* в Омск вместе с Колчаком вернулись еще два члена военной миссии: полковник Дж. Ф. Нилсон и капитан Л. Стевени. Их разместили в железнодорожном вагоне на площади за зданием Ставки. Дабы облегчить острую нехватку в помещениях, от станции к этой площади провели железнодорожную ветку, заставили вагонами и получилось своего рода общежитие.

И Нилсон, и Стевени говорили по-русски, последний — свободно. Их основной обязанностью было знать обо всем, что происходило в городе, то есть о политической и военной ситуации, и оба они знали то, что было известно всем остальным в Омске: Директорию могут свергнуть в любой момент. Однако ни один из них не водил близкого знакомства ни с кем из бесчисленных противников Директории, да и в любом случае вряд ли русские заговорщики доверились бы иностранным офицерам любой национальности, тем более подчинились бы им. Даже предположение о том, что люди, стоявшие за переворотом, получали хотя бы косвенные указания от британской военной миссии, опровергается непреложным фактом. Десятью днями ранее, перед отъездом из Омска во Владивосток на встречу с Жаненом, генерал Нокс доложил в Военное министерство: «Правые элементы подстрекают Колчака к совершению *государственного переворота*. Я сказал ему, что любая подобная попытка в данный момент была бы роковой».

Известие об арестах принес в вагон британской военной миссии молодой русский офицер, прежде храбро сражавшийся во французской армии²⁴. Это случилось 18 ноября в 7 часов 30 минут утра. Стевени оделся и прошел в Ставку, где новости были с радостью подтверждены. Когда возбуждение спало, объявили, что верховный правитель официально посетит высших представителей Антанты, начиная с французского верховного комиссара М. Реньо, чей поезд стоял на одной из веток недалеко от вокзала примерно в 3 километрах от центра города. Нилсон случайно оказался в Ставке, когда Колчак в британском мундире с русскими адмиральскими эполетами собрался уезжать. Колчак предложил Нилсону подвезти его, и Нилсон при-

²⁴ Это был капитан Зиновий Пешков, приемный сын Максима Горького.

глашение принял, а французы по-своему истолковали сей факт: верховный правитель впервые после *переворота* появился на публике вместе с *серым кардиналом* в хаки. Присутствие Мидлсекского полка у стен Ставки придавали этой интерпретации еще большую правдоподобность. Однако британские войска были расквартированы в прилегающем здании, и на самом деле их бдительность диктовалась благоразумием: в той ситуации в любой момент можно было «ожидать каких-нибудь крупных и серьезных событий».

На следующий день Нилсон доложил генералу Ноксу во Владивосток основные факты прихода Колчака к власти и охарактеризовал случившееся как «абсолютно честную попытку навести порядок». Такую же точку зрения выразила и газета «Таймс», чей проницательный корреспондент Дэвид Фрейзер находился в штаб-квартире полковника Уорда, когда того посетил Колчак после визита к Реньо.

На этом этапе поведение Нилсона по неизвестным причинам подверглось сомнению, но не в Париже или в Москве, а в Лондоне. 28 ноября Нокс послал из Владивостока в Военное министерство директиву: «Британские офицеры или британские войска ни в коем случае не должны принимать никакого участия в любых операциях или движениях политического характера».

Пять дней спустя до Омска добрался резкий выговор: «От шефа²⁵, 30 ноября. Вы (то есть Нокс) должны проинформировать полковника НИЛСОНА о том, что его недавнее участие в политических делах рассматривается министерством иностранных дел как крайне неблагоприятное и компрометирующее правительство Его Величества. Со стороны может показаться, что правительство вмешивается в СИБИРСКИЕ дела, поддерживая одну-единственную партию. Хотя мы высоко ценим рвение и энергичность НИЛСОНА, предостерегите его от любых действий подобного рода».

К посланию Нокс добавил собственные комментарии: «Это — не результат каких-либо заявлений, моих или верховного комиссара. На самом деле, если бы ваши доклады не приукрашивались, вы получили бы хорошую взбучку».

Здесь мы сталкиваемся с небольшой загадкой, ибо если телеграммы Нилсона из Омска о *перевороте* перед отправкой в Лондон «приукрашивались» во Владивостоке, почему в министерстве иностранных дел его поведение вдруг показалось неблагоприятным? Самое вероятное объяснение, видимо, в том, что мрачные подозрения Реньо были переданы в Париж, а затем попали в Уайтхолл через британское посольство в Париже. Но даже если именно так все и было, несколько странно, что Военное министерство столь быстро пришло к выводу, будто виноват их местный представитель.

Во всяком случае, Нилсону предложили представить письменный рапорт о его действиях непосредственно перед *переворотом*. Рапорт получили

²⁵ Почти наверняка шеф — начальник имперского Генерального штаба сэра Генри Уилсон.

в Лондоне в январе 1919 года. Нилсон отчитался о своих передвижениях, которые мы проследили выше, и подчеркнул: «Я сознавал, что замышляется государственный переворот, и ясно дал понять, что британцы не будут принимать в нем участие». Официальный вердикт гласил: «Нилсон полностью очистил себя от подозрений».

Тем, кто придерживается взгляда на историю, так точно названного «теорией заговорщиков», и тем, кто верит, что в начале XX века поступки дураков или кинжалы героев в одной части света вдохновлялись и направлялись людьми совершенно другого сорта из другой части света, тот факт, что Нилсон и Стевени не принимали никакого участия в *государственном перевороте*, едва ли покажется убедительным доказательством непричастности британского правительства. Множество доказательств, на некоторые из коих мы уже ссылались, указывает на то, что в соревновании за Сибирь Колчак участвовал под британскими знаменами.

Готовность, с которой Уайтхолл принял предложение Колчака служить на Месопотамском фронте, может показаться доказательством заинтересованности Британии в адмирале. Это впечатление подтверждается посланием резидента военной разведки, корреспондента газеты «Дейли мейл», находившегося в Маньчжурии, капитану Стевени в июле 1918 года. Он сообщал, что телеграфом передал в свою газету интервью с Колчаком, «в котором последний заявил, будто британское Военное министерство первоначально приказало ему отправиться в Месопотамию, а впоследствии направило его в Сибирь. Заявление в значительной степени соответствует истине, но вы должны объяснить адмиралу, что крайне желательно хранить молчание относительно его связей с нами. Соответственно данная статья подвергнута цензуре».

Если к столь недвусмысленным уликам прибавить тот факт, что двери, за которыми Колчак получил в свои руки власть, охранялись британскими солдатами, дело о соучастии Британии выглядит беспроегрышным. Однако о юридической силе этих улик следует судить в свете того, как новости о *государственном перевороте* восприняли в Уайтхолле. С заговорщической точки зрения там должно было царить ликование.

Реакция была диаметрально противоположной. «Крайне неудачное развитие событий... Похоже на настоящую катастрофу... Колоссальное препятствие нашим планам» — именно такими фразами отреагировал Лондон на новости из Омска. Отчасти это смятение было порождено страхом, что установление диктатуры в Сибири повлечет за собой нежелательные последствия в белых анклавах Архангельска и Южной России, но главная причина заключается в том, что военный кабинет только что — 14 ноября — принял решение *defacto* признать Директорию как правительство России.

Это было нелегкое и не самое мудрое решение, однако оно принималось в той сфере, где решения давно назрели, были крайне необходимы, а выно-

сились с огромным трудом. Черновик телеграммы с соответствующим заявлением стал шедевром в своем роде. Теперь министерство иностранных дел, все усилия которого пошли насмарку, оказалось в исходной точке. Неудивительно, что в его комментариях звучали уныние, раздражение и тревога.

Тем временем в Омске британцы все глубже влезали во внутреннюю политику России, но ни один из их методов или мотивов нельзя назвать бесчестным. Они пытались спасти жизнь четырех человек, которые были арестованы и которых по установившемуся в Сибири порядку ждало то, что впоследствии стало известно как «перевод в иртышскую республику». Омск стоит на Иртыше, и на местном жаргоне это означало, что человека убили, а труп спустили в прорубь. Нилсон и Уорд замучили власти расспросами о судьбе пленников Красильникова, не получили никаких ответов и 19 ноября написали напрямую верховному правителю. «Моя страна, — указывал Уорд, — крайне обеспокоена тем, что эти политические заключенные могут пострадать без суда и следствия». Уорд узнал, что все четверо будут заколоты штыками «ночью, так как стрельба может привлечь внимание».

Все разрешилось быстрее и счастливее, чем могло бы в то время в Сибири. Пленники получили деньги и подписали обязательства уехать за границу и отказаться от дальнейшей политической деятельности. Хорвату послали телеграммы с просьбой организовать проезд освобожденных через Маньчжурию. Во Владивосток собирался отряд больных солдат из Мидлсекского полка, им и поручили сопровождение бывших политиков. Колчак лично инструктировал молодого британского офицера: «Если будет попытка с целью нападения на них или, наоборот, с целью освобождения их, тогда действовать оружием без всяких разговоров».

Этот эпизод в новом свете представляет происходящее в Сибири. Четверых известных людей похитили; двое из них занимали самые высокие властные посты. Их похитителей не тронули, зато их самих могли лишиться жизни. Обеспечить их безопасность при переезде, то есть спасти, можно было, лишь поручив их иностранцам. Верховному главнокомандующему всеми сухопутными и морскими силами России пришлось положиться на дюжину британских больных солдат под командованием младшего офицера.

Поезд, в котором четверку везли в ссылку, не останавливали в больших городах. Изгнанники без происшествий достигли Маньчжурии и в конце концов оказались в Париже. Таким образом, правление Колчака началось как будто с акта милосердия, хотя вряд ли можно назвать актом милосердия неудавшуюся казнь четырех безвредных политиков, которым даже не было предъявлено никаких обвинений. Меры, принятые верховным правителем для сохранения их жизни, диктовались скорее соображениями целесообразности, чем человечностью. Он писал жене, что только защита иностранных миссий спасла их. Писал с сожалением. Колчак был жестоким человеком.

Глава 11

Приход Колчака к власти в Сибири восприняли по-разному. Провинциальные чиновники и военачальники засыпали его телеграммами с поздравлениями и клятвами в верности, однако от социал-революционеров Уфы и Екатеринбурга приходили страстные обвинения. Генерал Болдырев, благоразумно окруживший себя охраной из пятидесяти двух офицеров, вернулся в Омск, в личной беседе с верховным правителем выразил неодобрение и получил совет уехать в Японию. Чешские политические лидеры разразились заявлением с туманными угрозами относительно того, что они считали «незакончившимся кризисом», и в скверном настроении засели в своей палатке.

Семенов, как можно было ожидать, прислал две телеграммы с протестами, причем во второй пригрозил основать независимое государство в Забайкалье. Колчак незамедлительно ответил телеграммой, в которой в грубых выражениях освободил Семенова от командования. Тогда атаман нарушил телеграфное сообщение между Омском и Владивостоком, и в течение нескольких дней все донесения вынужденно посылали через Монголию. От карательной экспедиции против Семенова пришлось отказаться, когда японцы передали, что, если понадобится, они окажут своему *протеже* военную помощь. Только через несколько недель нормальные отношения — то есть не явная, а скрытая вражда — были восстановлены между Омском и Читой, где находился штаб атамана.

Тем временем белые начали наступление, подготовленное еще до *государственного переворота*, и в конце декабря вошли в Пермь. Было захвачено много пленных и ценной добычи, однако, по весьма авторитетному мнению, этот успех лишил сибирскую стратегию сбалансированности. Падение Перми, казалось, открыло дорогу на Вятку, Котлас и Двину и таким образом привнесло в планы соединение с войсками Антанты, базировавшимися в Архангельске. Такой возможности те, кто составлял планы в Лондоне, давно ждали.

На самом деле возможность была призрачной. Наступление на Котлас привело бы сибирские армии, которые и так уже плохо снабжались, в малонаселенный регион, где снабжение вообще почти прекратилось бы, где была отвратительная связь и такие же условия для военных операций. Генерал Айронсайд, командовавший войсками в Архангельске, предвидел, что до долгожданной встречи у сибирских армий иссякнут все припасы и его собственные армии окажутся не в лучшем состоянии. Колчак поступил бы гораздо благоразумнее, если бы сосредоточил основные усилия на своем ле-

вом фланге, к югу от Транссибирской магистрали, и направился через относительно хорошо населенную и освоенную территорию к Деникину, расширяющему подконтрольные ему земли. А так успех белых на севере нейтрализовался поражением на юге, где 5-я армия красных оккупировала Уфу, а казаков Дутова с позором изгнали из Оренбурга.

Однако по зрелом размышлении военная ситуация давала основания для надежды. Во Владивосток прибывали вооружение и снаряжение из огромных излишков, скопившихся в арсеналах союзников. Но транспортировались они по Транссибирской магистрали медленно и непредсказуемо, и лишь небольшая их часть достигала сражающихся войск. И все-таки новобранцы, исчислявшиеся тысячами, были одеты и вооружены. Хотя недовольные чехи вышли из боев, опасно ослабив сектора, где они воевали, они все же не оказались безвозвратно потеряны, поскольку взяли на себя охрану Транссибирской магистрали, задачу, все более важную по мере того, как партизаны становились сильнее и самоувереннее.

Политических плюсов было меньше. Омск превратился в авгиевы конюшни, а как вскоре стало очевидно, Колчак был далеко не Гераклом, способным их очистить. Красильникова и двух его ближайших сподвижников формально привлекли к суду, оправдали и повысили в звании. Акты насилия не прекращались. Процветала личная месть. Министры обогащались, не брезгуя явным мошенничеством. Катастрофические ошибки в управлении никем не исправлялись. Пожалуй, самым губительным для режима была его неспособность хорошо платить персоналу железной дороги. Все признавали честность самого верховного правителя, однако он, похоже, не мог навязать собственные высокие моральные нормы другим и даже, как ни странно, не понимал, что их необходимо навязывать. Вряд ли ситуация в Сибири была бы намного хуже, если бы к власти пришел Семенов.

Точно известно, что Колчак серьезно болел пневмонией во время самого тяжелого политического инцидента, испортившего репутацию его правительств, однако невозможно с полной уверенностью утверждать, что, если бы он был здоров, власти действовали бы менее варварским способом. Ночью 21 декабря в Омске вспыхнул вооруженный мятеж. Контрразведка Ставки, прознав о мятеже, за сутки до его запланированного начала провела облаву и расстреляла два десятка вероятных зачинщиков, в основном железнодорожников. Эта расправа не смогла предотвратить восстание — мятежники захватили тюрьму и освободили всех заключенных. В Омске захват тюрьмы был единственным успехом восставших, но в промышленном пригороде Куломзино на другом берегу реки прежний порядок восстановили лишь через несколько часов жестоких боев.

Чтобы соблюсти приличия, сформировали военные трибуналы, но на самом деле вершились скоропалительные судилища, расправлявшиеся со

всеми без разбора. Однако 166 человек, получившие смертный приговор, были не единственными жертвами.

Например, правительственные войска расстреляли в парке 35 молодых солдат — не справившихся с восставшими тюремных охранников — только потому, что в камерах для них не хватало мест. Убиты были и многие безобидные горожане.

Самый страшный скандал разразился из-за казни политических заключенных (Колчак был уверен, что их казнили умышленно, дабы скомпрометировать его) — социал-революционеров и членов других партий, которые после освобождения мятежниками сочли благоразумным вернуться в тюрьму. Пятеро случайно попали в число приговоренных к смерти. Десять других, отпущенных военным трибуналом за отсутствием состава преступления, были тотчас же расстреляны по приказу капитана Бартошевского. Капитан за самоуправство не пострадал.

Во внешних делах перспективы омского правительства были весьма обнадеживающими. Деникин и другие белогвардейские лидеры публично признали главенство Колчака. Представители Антанты в его Ставке, включая американского генерального консула Гарриса, относились к правителю с искренним уважением и оказывали содействие. Благодаря захваченному золотому запасу Омск пользовался хорошей репутацией. Среди представителей Белого движения в Париже были влиятельные и высокопоставленные люди, и, хотя их не допустили на мирную конференцию, они успешно воздействовали на членов делегаций.

Ни одна из держав Антанты не была пока готова официально признать омский режим, однако в Лондоне, Париже и Вашингтоне не исключали, что в подходящий момент следует это сделать. Тем временем британское министерство иностранных дел и военно-морской флот Великобритании занимались организацией вывоза жены и сына Колчака из Южной России в окрестности Парижа, куда семья и прибыла в марте 1919 года. Еще один британский батальон — 1-й батальон 9-го Гэмпширского полка из Индии — прибыл в Омск в начале января, а за ним и канадская бригада²⁶.

Отряд матросов с «Суффолка» с двумя 12-фунтовыми пушками, установленными на бронепоезда, завоевал отличную репутацию в зимних боях, а теперь формировал англо-русскую флотилию канонерок на реке Каме с базой в Перми. Не считая чехов, эта горстка британских моряков и морских

²⁶ Решение отправить канадский контингент (5 тысяч человек, 1300 лошадей) было принято в августе 1918 г. Около 700 человек высадились во Владивостоке в конце октября, однако отплытие остальных было отменено, а тех, кто добрался до России, через несколько дней отправили домой. Было две причины аннулирования этого проекта. Первая: дисциплина войск катастрофически упала после заключения перемирия в Европе. Вторая: канадские власти решили, что с ними должным образом не проконсультировались, и обиделись.

пехотинцев была единственным отрядом Антанты, воевавшим на фронте²⁷. Британские офицеры-инструкторы по приказу Нокса муштровали вялые фаланги сибирских рекрутов. И в Омске, и в других местах присутствовали французы. В Красноярске находились итальянцы. Американские эксперты неумоимо пытались предотвратить дальнейший развал Транссибирской железнодорожной системы. Полковник Уорд ездил с лекциями по промышленным центрам.

Люди верят в то, во что им удобно верить, выдают желаемое за действительное. Все, кто был тесно связан с сибирскими событиями в январе 1919 года, могли бы понять, что Антанта ввязалась в крестовый поход против большевизма, — это следовало из поведения ее ведущих представителей, как на публике, так и в частной жизни. Поэтому принкипские предложения произвели эффект разорвавшейся бомбы, вызвав сначала недоверие, а затем возмущение.

Принкипо — маленький остров в Мраморном море недалеко от Константинополя. Своим скромным присутствием в истории XX века он обязан тому, что в декабре 1918 года британское правительство предложило остальным государствам Антанты заключить перемирие в Гражданской войне и собрать в Париже большевиков и антибольшевиков, чтобы выяснить возможности достижения мира. Эта идея ни у кого не нашла отклика, а Франция отвергла ее столь решительно, что, когда в середине января ее воскресил президент Вильсон, о встрече в Париже уже не могло быть и речи. Несомненно, Принкипо выбрали отчасти потому, что маленькие острова обладают свойством расхолаживать фанатиков, но главным образом потому, что советские делегаты могли прибыть в Турцию по железной дороге, не подвергаясь особому риску и не пользуясь окольными путями.

Проект Принкипо был преждевременной и непрофессиональной попыткой создать то, что сорок лет спустя стали называть дипломатией, основанной на встречах руководителей государств. Концепция такой дипломатии разумна и гуманна. Ллойд Джордж имел в виду «божественное перемирие», во время которого прекращаются как «акты насилия и возмездия», так и любые военные действия. Прекрасные слова. С начала ноября советское правительство неоднократно призывало Антанту прекратить интервенцию и снять блокаду. Тон призывов был умиротворяющий, и намекалось, что проявленное в этом вопросе великодушие вознаградится экономически. То есть Москва явно хотела, причем очень сильно, покончить с военными действиями.

Союзники желали того же и почти с тем же пылом. Их армии испытывали муки демобилизации, проводившейся в британских войсках заведомо

²⁷ «Военный флот часто отправлял десанты для помощи в военных операциях, но никогда прежде они не забирались так далеко (7 тысяч километров) от родного корабля». [*Ньюболт Генри*. История великой войны: морские операции. Т. V].

столь несправедливо, что дезертирство и мятежи стали обычным делом. «Мы не смеем отдать войскам непопулярный приказ, — говорил 22 января на заседании кабинета министров начальник имперского Генерального штаба, — так как от дисциплины остались одни воспоминания». Серьезные волнения назревали в Ирландии. Несколько дней спустя Фош сказал сэру Генри Уилсону, что терпение французских солдат на исходе, и в любой момент «они могут демобилизоваться самостоятельно, как сделали это бельгийцы». В США в обществе господствовали недовольство и нетерпение. Короче, ничто не устроило бы союзников (за исключением Японии) больше, чем конец Гражданской войны. Принкипо, казалось, давал некоторую надежду — единственную надежду — на то, чтобы погасить пожар.

Кажется невероятным, что кто-либо действительно мог поверить в осуществление этой надежды. Для успеха Принкипской конференции требовались три условия: белые должны договориться между собой; красные — договориться с белыми; великие державы (перед которыми соперничающим сторонам приходилось отчитываться, пользуясь неудачным сравнением Ллойд Джорджа, «точно так же, как правителям окраинных зависимых государств перед римскими императорами») должны достичь единодушия в отношении к любому решению, вынесенному белыми совместно с красными. Если вспомнить, что любое нарушение перемирия в России во время конференции привело бы к ее мгновенному провалу, трудно понять, как три великие державы зашли так далеко, что назначили своих делегатов на Принкипо.

Приглашения, составленные президентом Вильсоном, были разосланы 22 января с мощного радиопередатчика, находившегося на вершине Эйфелевой башни, однако белогвардейские лидеры получили их менее безличным способом — через своих парижских представителей — и тут же наотрез отказались от участия в конференции. Государственные деятели Антанты не приняли во внимание эмоциональную атмосферу, порожденную Гражданской войной. Белые искренне считали большевистских лидеров чудовищами, виновными в столь отвратительных и непростительных преступлениях, что общение с ними, а тем более общение по приглашению иностранцев представлялось им абсолютно невозможным. Белые отвергли принкипские предложения так же решительно, как член афганского племени патанов, исповедовавшего кровную месть, отверг бы предложение о переговорах с человеком, только что убившим его брата.

Категорический отказ белых был получен в Париже через два дня. Советское правительство тянуло с ответом до 4 февраля, а затем туманно и лицемерно заявило, что узнало о приглашении «из радиограммы, содержащей обзор прессы», и с восторгом вступило бы в переговоры. Оно попросило уточнений и сформулировало ряд соблазнительных предложений, касавших-

сы иностранных долгов и экономических концессий, то есть готово на некоторые уступки, облегчающие заключение соглашений.

Ллойд Джордж пришел в ярость. Приглашение на Принкипо было сформулировано в самых альтруистических выражениях, и замаскированное предложение взятки выглядело «умышленно оскорбительным». Однако хилый проект своим отказом от участия задушили в зародыше белые, и надежды большевиков на передышку, которую принесло бы им начало переговоров, рухнули. Белых лидеров вся эта затея озадачила, разгневала и напугала. Словно добрый самаритянин, пришедший на выручку, вдруг нанес пощечину тому, кому хотел помочь. Многие из представителей Антанты в России, не подозревавшие о происходящем, почти так же были выбиты из колеи. Адьютант Колчака записал в своем дневнике 27 января, что верховный правитель ни на минуту не сомкнул глаз с тех пор, как услышал о Принкипо. Гражданская война продолжалась.

Приезд в Омск генерала Жанена 13 декабря не облегчил Колчаку жизнь. Они мельком встречались в 1916 году, когда Колчак официально посещал Ставку царя в Могилеве после своего назначения командующим Черноморским флотом, но какое бы впечатление ни произвел тогда адмирал на Жанена, оно было стерто критическими отзывами, к коим генерал жадно прислушивался и во Владивостоке, и в других местах. Жанен верил, что Колчаком управляет Нокс, которого француз считал своим официальным соперником. Он также знал о взаимной неприязни Колчака и Чехословацкого легиона, командовать которым он прибыл в Сибирь. Жанену нелегко было забыть о первоначальной концепции своего назначения. Будучи человеком честолюбивым, он болезненно относился к вопросам престижа. Ему казалось, что «неприлично подвергать генерала французской армии риску поражения».

В компании Реньо, французского верховного комиссара, Жанен впервые затронул этот вопрос в беседе с еще не оправившимся от пневмонии Колчаком 16 декабря. Из отчета самого Жанена о той «бурной» встрече ясно, что он сразу же заявил, будто именно он, а не Верховный главнокомандующий Сибири контролирует все военные операции, что подтверждается многочисленными телеграммами из Парижа. Колчак решительно отверг претензии Жанена. Он сказал, что идет Гражданская война и не может быть речи о том, чтобы доверить руководство войсками иностранцу. С политической точки зрения необходимо оставить командование в руках русских. Невозможно представить, чтобы верховный правитель отреагировал иначе, но Жанен нашел сей ответ необоснованным.

Так начался ожесточенный спор, растянувшийся более чем на месяц. Все это время Жанен повторял старые аргументы: мол, чем шире его полномочия, тем большую материальную поддержку окажет Верховный военный совет, который он представляет в Сибири. Правда, этот довод ослаблялся

тем фактом, что большая часть оказываемой или ожидаемой помощи приходила из Британии.

Тем не менее русским приходилось принимать в расчет «чувства» Антанты, как, в сущности, и чехам, которые, по выражению Нокса, «хотели рубашек и сапог, а не иностранных генералов». В сложной сибирской иерархии требовалось найти Жанену приемлемое место, и к середине января с трудом определилась формула, удовлетворявшая требованиям неестественной ситуации. Жанен становился главнокомандующим всеми войсками Антанты западнее озера Байкал; русский главнокомандующий должен был «контролировать проведение военных операций в соответствии с приказами генерала Жанена как представителя Верховного военного совета Антанты». Далеко не ясно, что означала или должна была означать эта словесная фигура, однако никакой неопределенности она не вызвала, поскольку Жанен никогда не отдавал никаких приказов.

Нокса удостоили звания начальника тыла с широкой ответственностью за подготовку, управление и снабжение как русских, так и союзных вооруженных сил. Получалось, что номинально Нокс стал помощником или даже подчиненным Жанена, но тот, как Нокс заявил Военному министерству, когда все закончилось, «не оказывал никакого влияния на военные кампании и ни разу не дал мне никаких инструкций относительно организации войск, их подготовки или снаряжения». Нокс и Жанен не ладили. Жанен представлял собой так называемого политического генерала, однако авторитетом у русских не пользовался, поскольку слишком беспокоился о престиже своем и своей страны, чтобы посвятить себя их делу. Жанен хитрил там, где Нокс шел напрямик, был любезен там, где британец не стеснялся в выражениях. Нокс без колебаний говорил русским, начиная с Колчака, неприятную правду; Жанен смягчал свою критику примерами из хорошо знакомой ему русской истории.

Русские предпочитали Нокса, так как знали, чего от него ожидать, и видели, что он изо всех сил старается помочь им. Один русский дипломат отзывался о нем как о спокойном, энергичном и исключительно информированном офицере, вызывавшем уважение и восхищение лучших слоев русской армии. Он всегда без колебаний говорил правду, какой неприятной она бы ни была.

А вот как сформулировал свои впечатления о Ноксе командир роты Гэмпширского полка после их первой встречи в Сибири: «Это редкий тип британского офицера. Такие люди заставляют гордиться тем, что ты принадлежишь к одной с ними нации. Они не жалеют себя во имя патриотических бескорыстных идеалов, кои составляют главную движущую силу их жизни».

Жанен подобных отзывов не удостоился.

Глава 12

Пробный шар с принкипскими предложениями — а это был именно пробный шар — лопнул, и политика Антанты в отношении России вернулась к своей обычной непоследовательности. Черчилль, теперь военный министр, 27 января 1919 года писал Ллойд Джорджу: «Союзники в Париже еще не решили, хотят ли они воевать с большевиками или заключать с ними мир. Они застряли между двумя этими курсами, поскольку оба им одинаково не нравятся». Эта неприязнь вполне естественна — отчасти потому, что оба курса казались одинаково невозможными.

Заключение мира, то есть прекращение интервенции и снятие блокады, было несовместимо с чувством чести. Кроме чехов, на помощь которым, по собственному заявлению, ринулась Антанта, были белые русские, которых в антигерманских целях подстрекали взяться за оружие и бросить которых не позволяли приличия. Как сформулировал Бальфур в меморандуме в конце ноября 1918 года, «недавние события породили обязательства, распространившиеся шире обстоятельств, их вызвавших». По всей бывшей Российской империи «под защитой Антанты установились новые антибольшевистские режимы. Мы ответственны за их существование и должны поддерживать их». Некоторые из этих правительств, особенно в Прибалтике и Закавказье, были не просто антибольшевистскими, они представляли национальные чаяния подавляемых меньшинств, стремившихся к автономии, и эти чаяния косвенно или же открыто поощряла Антанта. В такой ситуации о полномасштабном прекращении интервенции, каким бы целесообразным оно ни было, не могло быть и речи.

Но так же обстояло дело и с альтернативой. «Поддерживать» белых означало поддерживать их против красных. Уже стало очевидно, что рекомендации, к которым белые редко прислушивались, и оружие, часто не доходившее до фронта, не могли спасти Белое дело. Только поражение Красной армии и свержение советской власти могли принести спасение, а заняться этим вплотную ни одно из союзных правительств не было готово, а если бы и было, никто не располагал огромными армиями, необходимыми для осуществления этой цели. Демобилизация шла полным ходом, оставшихся ресурсов еле-еле хватало для поддержания в боеготовности небольших отрядов Антанты, уже находившихся в России, — все, что могли позволить себе государства, участвовавшие в интервенции. А вскоре они не смогли позволить себе и этого.

Опыт генерала Жанена прекрасно иллюстрирует связанные с интервенцией практические проблемы. Французская военная миссия в Сибири со-

стояла всего из нескольких десятков солдат и офицеров, не подвергавшихся особой опасности и не испытывавших почти никаких лишений. В середине января статус и полномочия Жанена наконец определились, и генералу не терпелось приступить к работе. Однако появились трудности, связанные с сокращением военной миссии. Были установлены даты демобилизации различных категорий солдат и офицеров, и во исполнение приказа многим сотрудникам пришлось немедленно вернуться во Францию. Те, кого посылали на их место, предпочитали «процесс самодемобилизации на всем пути следования». Одни задерживались в Сан-Франциско или на Гавайях, пока их не возвращали на родину. Другие прибывали в Сибирь лишь затем, чтобы немедленно отправиться обратно: *всего три денька, а потом они исчезают, как марионетки*. Один чужак, опасаясь, что его чести будет нанесен непоправимый урон, настоял на том, чтобы задержаться на месяц. Черчилль написал важную полуправду: «Перемирие оказалось смертным приговором русскому национальному делу».

После заключения перемирия союзники предприняли всего лишь одну попытку осуществления относительно серьезной интервенции, закончившуюся катастрофой. 18 декабря в Одессе начали высаживаться и двигаться в глубь страны две французские и две греческие дивизии под французским командованием. Они считали себя оккупационной армией, следующей за отступающими с Украины немецкими войсками, однако вскоре их против воли вовлекли в войну с Красной армией. Потеряв более 400 солдат и офицеров, интервенты в беспорядке отступили в Одессу.

Пока большевики окружали порт, где было мало продовольственных запасов, на кораблях французской эскадры, прикрывавшей сухопутные операции, вспыхнул мятеж; недовольство царило и среди войск, оставшихся на берегу. 2 апреля французский командующий получил из Парижа приказ в три дня эвакуировать войска из Одессы. Приказ был выполнен в атмосфере, очень близкой к панике (хотя греки держались довольно стойко), и эскадра убралась прочь, оставив Одессу на милость победителей. Если генеральные штабы союзников еще нуждались в каких-либо предупреждениях, то этот провал, за которым последовали военные трибуналы, мог бы остудить самых горячих авантюристов.

В отношении союзных держав к Гражданской войне было нечто шизофреническое. Они мучительно сознавали, что их собственные попытки повлиять на ход войны по большей степени безрезультатны, чрезвычайно дорогостоящи и все более непопулярны. Они сожалели об отсутствии скоординированной политики, касающейся России, и потеряли надежду договориться между собой. В глубине души они понимали, что рано или поздно придется отказаться от невыгодной затеи.

Однако эти сравнительно реалистические рассуждения всегда отходили на задний план — побеждала привычка выдавать желаемое за действительное и слепо верить, что в конце концов все как-нибудь уладится. Мнение о России в союзных столицах основывалось в основном на информации, полученной от эмигрантов, рассуждавших о героизме и самопожертвовании белых и преувеличивавших не только развращенность, но и экономические и административные трудности красных. Это привело к тому, что вне России люди начинали судить о противоборствующих сторонах примерно так, как дети в игре сравнивают достоинства ковбоев и индейцев.

Еще сильнее укоренились вера в победу Белого движения и почти тотальное неверие в жизнеспособность советского режима. Вероятно, руководствовались не разумом, а морально-этическими нормами — полагали, что преступление не может остаться безнаказанным. Мол, люди, убивавшие офицеров, замучившие царя, казнившие заложников, национализировавшие женщин²⁸, предавшие союзников, отказавшиеся выплачивать долги, взвалили на себя столь огромный груз вины, что в конце концов непременно погибнут под его тяжестью. Никто и представить себе не мог, что те, кого Черчилль в палате общин назвал «колонией глупых большевистских обезьян», выйдут из этой борьбы победителями. Кошмар не может продолжаться вечно. Поскольку те, кто формировал политику союзников, именно так думали (или по меньшей мере чувствовали), поражение большевизма считалось неизбежным, и надежды белых на успех всегда казались чуточку обоснованнее, чем это было на самом деле.

Ранней весной 1919 года надежды на успех казались самыми радужными. Восстание социал-революционеров и меньшевиков на Закавказской железной дороге, поддержанное маленьким британско-индийским отрядом, ослабило власть большевиков на окраинах Российской империи. На Каспийском море господствовала флотилия ветхих канонерок ВМС Великобритании. В Закавказье *de facto* признали независимость Грузии и Азербайджана. Финляндия и страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — были охвачены борьбой, которая, несмотря на неопределенность, казалось, должна была закончиться поражением Советов.

Разумеется, это были периферийные театры военных действий интервенции, но и в трех ее главных секторах, когда против Москвы предпринимались совместные действия, дела шли неплохо. На севере войска Мурманско-

²⁸ Предание о том, что советское правительство «национализировало» женщин, видимо, основано, главным образом, на одном документе, в котором весьма подробно определялись права мужского населения в этой сфере. Хотя это могла быть ловкая подделка, подлинность документа не представляла особых оснований для сомнений. Однако это была лишь прокламация саратовских анархистов, и даже самые безответственные журналисты не должны были представлять заявление как официальную политику большевистской партии и советского правительства.

Архангельского анклава — около 12 тысяч британцев и 11 тысяч интервентов других национальностей — подлежали выводу во время короткого лета, когда море освобождается ото льда, однако планировалось, что до того, как покинуть Заполярье, они, с помощью добровольческих подкреплений, совершат бросок на юг и осуществят давно лелеемую мечту о соединении с сибирскими армиями.

В первые четыре месяца 1919 года главными новостями из Советской России были известия о разгроме французов. Разными путями Франция высадила на черноморском побережье примерно 70-тысячный военный контингент²⁹, и только для того, чтобы сломя голову эвакуировать его, как только стало ясно, что откусили больше, чем могли проглотить. Через несколько дней после эвакуации из Одессы пал Севастополь и бежал почти весь базировавшийся там Черноморский флот³⁰. Однако подалее к востоку Деникин упорно укреплял плацдарм на Дону, а в начале мая бросился в наступление на Москву.

Правда, фаворитом в гонке, целью которой была столица, по широко распространенному мнению, несомненно, был Колчак. К концу апреля его войска, начав наступление на 240 километрах фронта, продвинулись на 200 километров на севере и на 400 километров в центре.

В марте Нокс доложил, что генерал Каппель, чья армия была выведена в резерв, «боятся опоздать к захвату Москвы», но адъютант Нокса полагал, что «превосходный корпус Каппеля (...) если поторопится, то, вероятно, прорвется к Москве». В меморандуме министерства иностранных дел от 6 июня подтверждалось, что «мы ожидаем широкого наступления на русское советское правительство, а потому наша основная помощь, финансовая и всякая иная, должна быть направлена в Сибирь».

Вопрос, признавать ли омское правительство, и если да, то в какой форме, периодически занимал умы парижских миротворцев, хотя военные достижения верховного правителя до некоторой степени нивелировались сомнительной репутацией его политического руководства. В конце концов решили принять условия, на которых правительства Антанты и присоединившихся к ней держав, некоторые из коих «в данный момент вынуждены вывести свои войска из России и резко сократить свои расходы», «подготовились бы вновь оказывать помощь».

Эти условия были сформулированы в официальном сообщении, которое подписали Клемансо, Ллойд Джордж, Орландо (за Италию), Вудро Вильсон и принц Сайондзи (за Японию). Сообщение телеграфом отправили в Омск

²⁹ Наряду с греческими и румынскими сюда входили сенегальские, алжирские и другие колониальные части, незатронутые демобилизацией.

³⁰ Севастополь был в руках красных с конца апреля до конца июля 1919 г.

в конце мая. Коалиция склонялась к тому, чтобы «снабжать правительство Колчака и его партнеров военным имуществом, боеприпасами и продовольствием, а также помочь утвердиться в качестве Всероссийского правительства, при условии получения определенных гарантий того, что они ставят те же цели, что союзные государства». Эти цели — «дать возможность русскому народу восстановить контроль над своими делами через свободно избранную Государственную думу ради восстановления мира в России; разрешить все спорные вопросы по границам Российского государства и его отношениям с соседями через Лигу Наций для восстановления мира вдоль границ России».

Три из восьми требуемых гарантий касались второй из названных целей и должны были обеспечить автономию Польши, Финляндии, стран Балтии, Кавказских республик и Бессарабии. От России требовалось вступление в Лигу Наций. Колчак также должен был принять обязательство выплатить национальные долги России, от которых отреклись большевики. Необходимо было обеспечить гражданские свободы, провести земельную реформу и местные выборы. И может быть, самой интересной особенностью документа, в остальном имевшего лишь чисто теоретическое значение, является оптимизм первого условия: «*Как только они (белые) достигнут Москвы, они должны созвать Учредительное собрание*».

Колчак ответил 4 июня. Лидеры союзных государств нашли формулировки его ответа, в общем, удовлетворительными, хотя впечатление от заверений в «восстановлении законности и порядка и обеспечении личной безопасности преследуемого населения» было смазано уже некоторое время приходящими из Красноярска сообщениями разведки. Полномочный представитель верховного правителя генерал Розанов установил в Красноярске режим террора и без суда казнил огромное количество заложников.

Если бы Колчак был — как, скажем, Керенский — выскочкой, его неумение выбирать подчиненных удивляло бы меньше, но ведь он долгое время был незаурядным морским командиром, и его несостоятельность как верховного правителя, неспособность отличить плохого человека от хорошего необъяснима. Полковник Уорд писал об омских министрах: «Среди них нет ни одного, кому я мог бы доверить самое незначительное дело». Начальником штаба у Колчака был молодой полковник Лебедев, откомандированный Деникиным и имевший в Сибири больше власти (коей он злоупотреблял), чем кто-либо другой. Когда Нокс спросил Колчака, почему тот продолжает держать на ключевом посту столь сомнительного типа, адмирал ответил: «Потому что я могу быть уверен, что он не воткнет мне нож в спину». «Колчак забывает, — прокомментировал Нокс, — что человек, занимающий этот пост, должен обладать более положительными качествами».

Общепризнанно, что выбирать было в общем-то не из чего. В письмах жене Колчак говорит, что окружение его ужасно, что он живет в атмосфере нравственного разложения, трусости, алчности и предательства. Отчасти по географическим причинам в распоряжении Деникина было лучшее, чем у Колчака, офицерство. Тем не менее трудно отказаться от мысли, что армиями Колчака могли бы командовать успешнее, офицеров в штабе могло бы быть меньше³¹, чиновники могли бы быть честнее и квалифицированнее, а министерствами следовало бы управлять с менее скандальной безответственностью.

Из всех ошибок и упущений Сибирского правительства самые катастрофические связаны с военными поставками. Во время первого посещения Омска, *перед государственным переворотом*, Нокс среди других мер рекомендовал «в первую очередь снабжать передовые части на фронте, и только потом тыловые». Рекомендацию приняли, но никогда ей не следовали. Вся система снабжения подчинялась требованиям черного рынка. Цены на предметы роскоши и некоторые предметы широкого потребления (например, табак) в Омске стояли в двадцать пять раз выше, чем во Владивостоке. Взятки от 20 до 50 тысяч рублей было достаточно, чтобы получить вагон из поезда с военным снаряжением, но желательнее отогнать поезд на склад, где с подобными делами справлялись с осторожностью. А еще лучше, чтобы этот склад находился поближе к большому количеству потребителей контрабанды. Омск для этой цели подходил лучше всего.

На худой конец, разумеется, незаконный вагон можно было просто отцепить, а поезд отправить к коммерчески невыгодному месту назначения — поближе к линии фронта. Однако это не устраивало начальника склада, поскольку военные запасы (особенно одежда, лекарства и перевязочный материал, седла, револьверы и так далее) господствовали на черном рынке. Редко представлялся шанс незаконно завладеть всем правительственным грузом, но было множество возможностей для умеренного воровства.

Результаты вполне предсказуемы. Отвратительного планирования, профессиональной непригодности чиновников и обветшания железных дорог уже хватило бы для развала снабжения передовых омских армий, а повсеместная коррупция усугубляла эти неустранимые слабости и лишала фронтовые части самого необходимого. Русский морской офицер, командир канонерки, защищавшей плацдарм на Каме весной 1919 года, рисует такую картину: «Солдаты одеты безобразно, некоторые ходят буквально в лохмотьях. Лишь у немногих есть сапоги — большинство носит лапти или обматывает ноги мешковиной. Кое-кто вместо военной формы носит сшитые вместе

³¹ Приблизительное число офицеров, служивших в Ставке в Омске, колеблется, хотя часто упоминается цифра 4 тысячи. Жанен упоминает трех генерал-квартирмейстеров, самому нижестоящему из которых подчинялось 179 офицеров.

мешки. У офицеров мундиры выцвели и изнашивались». Еще один надежный свидетель говорит об армейском корпусе, в котором единственной экипировкой, выданной офицерам за полгода, была тысяча пар подтяжек. В Ставке офицеры быстро получали очередные звания, во фронтовых частях повышения случались редко.

Красная армия столкнулась практически с теми же проблемами, что и ее противники, но с большей энергией и упорством взялась за их решение. Не хватало вооружения, поскольку остановились почти все заводы и фабрики, но зато были приняты меры к тому, чтобы имевшееся оружие попадало к тем, кто непосредственно участвует в боях. Поразительно высокий процент дезертиров сокращался разумными и относительно гуманными методами. Красной армии недоставало квалифицированных командиров, однако к июню 1919 года этот недостаток отчасти компенсировала мобилизация 27 тысяч бывших офицеров царской армии. Большинство их, хотя и откликнулись на призыв только потому, что было трудно и опасно его избежать и то был единственный доступный способ добыть средства к существованию для себя и своих семей, выполняли свои обязанности — под присмотром политических комиссаров — скрупулезно, хотя, вероятно, без особого рвения.

В двух отношениях Красная армия, безусловно, превосходила своих противников в Сибири. Троцкий был человеком энергичным, хорошим организатором и быстро схватывал суть происходящего — всех эти качества Колчаку недоставало. Зимой 1918 года Троцкий заявил, что все внимание следует уделить улучшению кадров, а не заниматься фантастическими схемами реорганизации; каждое воинское соединение должно регулярно получать свою норму довольствия; солдаты должны научиться чистить сапоги. Армии Колчака постоянно реорганизовывались: за четырнадцать месяцев Военное министерство десять раз переходило из рук в руки, но у солдат по-прежнему не было ни сапог, ни гуталина.

И наконец, большевистские лидеры верили в свое великое предназначение, чем белые опять-таки не могли похвастаться. Большевики поступили своими разногласиями ради общей цели, белые поступили наоборот. Белые развлекались бессмысленными зверствами, часто вредившими их делу, — красные обосновывали свою безжалостность великими целями, и их безжалостность приносила те результаты, к которым они стремились. Несмотря на все трудности и промахи, Красная армия была функционирующим предприятием. «Когда дела шли из рук вон плохо, почти всегда находился коммунист или группка коммунистов, бравших власть в свои руки, и группа партийцев, обеспечивавших дисциплину по всей вертикали и внушавших ту уверенность, которая и определяет разницу между победой и поражением». В слабых сибирских армиях не было ничего подобного.

Документ, датированный 26 мая 1919 года, в коем лидеры Антанты потребовали, чтобы Колчак — среди всего прочего — созвал Учредительное собрание, как только он войдет в Москву, еще дешифровывался и переводился в Омске, когда Красная армия перешла в наступление. «Общая ситуация неудовлетворительна», — телеграфировал британский консул в Омске Ходжсон министерству иностранных дел 3 июня. Командующий Западной армией Колчака перестарался и потерял связь со своими резервами, и его войска были отброшены. «Ситуация обострилась из-за предательства Украинского полка, перешедшего на сторону врага после убийства своих офицеров... Даже каппелевский корпус, вымуштрованный британцами и пользовавшийся абсолютным доверием, подхватил большевистскую заразу, и восемь рот перешли на сторону врага». Мистер Ходжсон продолжил перечисление проблем омского режима и рекомендовал открыто поддерживать его, а также отметил, что вся структура держится всецело на личности Колчака.

Пять дней спустя британская военная миссия в Омске доложила о «серьезных неудачах»: «В настоящий момент общая ситуация с военной точки зрения совершенно неудовлетворительна и неопределенна в основном из-за паники (...) а также ссор между руководителями и проводимой в тылу реорганизации».

Для верховного правителя России началась полоса неудач.

Глава 13

Плохие новости с фронта положили конец планам переезда Ставки и правительства в Екатеринбург, хотя Омск никого не вдохновлял. «Широкие пыльные улицы, маленькие деревянные домишки с редкими вкраплениями современных каменных и кирпичных зданий. Несмотря на недавно обретенный статус столицы не только белой Сибири, но и всего Белого русского движения, Омск оставался глубоко провинциальным городом... Он все еще был сильно похож на разросшуюся степную деревню». Город был перенаселен. Беженцы, число которых за лето катастрофически выросло, жили в землянках, покрытых ветками и соломой. Однако часто проводились концерты и балы-маскарады, а по вечерам в запущенном городском саду играл румынский оркестр и прогуливались военные и светская публика.

«Дворец» верховного правителя был всего лишь оштукатуренным домиком на берегу Иртыша. Охрана носила британские мундиры цвета хаки с широкими пурпурными погонами с белым кантом. Колчак жил аскетом. Своей жене, желавшей вести во Франции жизнь, подобающую супруге верховного правителя, он писал: «Я не устраиваю никаких приемов, и ты должна жить скромно. Не пытайся следовать дипломатическому протоколу». Хо-

тя Колчак не раз уверял жену, что у него нет никакой личной жизни, на самом деле он завел, или восстановил, связь с дамой, которой писал в поезде в Маньчжурии. Мы имеем в виду письмо, приведенное в 4-й главе³².

Анна Васильевна Тимирева, серьезная, темноволосая красивая женщина чуть за тридцать, была дочерью известного музыканта³³ и женой контр-адмирала Тимирева³⁴, служившего с Колчаком на Балтийском флоте. В 1919 году Тимирев был старшим русским морским офицером во Владивостоке. Неясно, как и когда Анна Васильевна добралась до Омска, но о ее отношениях с верховным правителем было известно всем. Эта связь не вызвала никакого скандала. Генерал Жанен и его офицеры в своих попытках посмертно очернить Колчака намекают на его пристрастие к кокаину, но даже не упоминают Тимиреву, что может быть данью ее личным качествам и осмотрительности, с которой она вела себя в своей сомнительной роли любовницы верховного правителя. Когда Колчака приглашали обедать в британскую военную миссию, его обычно спрашивали, желает ли он, чтобы пригласили госпожу Тимиреву. Ежели ее приглашали, то за ней на ее квартиру — она не жила во «дворце» — присылали штабной автомобиль, и они с Колчаком приезжали врозь. Она активно занималась благотворительностью.

Много времени верховный правитель проводил в поездках на фронт. Эти слова вызывают мысли о полевых биноклях и стальных шлемах, о представляемых важному посетителю передовых патрулях, но в реальности визиты превращались в череду официальных церемоний — бесконечных банкетов (один продолжался пять с половиной часов) и нескончаемых речей. И все время случались какие-нибудь неприятности. Во время одного из военных парадов в Екатеринбурге священник проводил кисточкой со священной водой по мордам лошадей кавалерийского полка, и лошади шарахались, нарушая строй. На одной из железнодорожных станций чешский офицер, прогуливавшийся с женой, столкнулся с охраной, окружавшей поезд верховного правителя. Он не понял произнесенного по-русски приказа и в по-

³² Отрывок из последнего письма Колчака жене дает основания предположить, что она знала о его связи и упрекала его. «Прошу не забывать моего положения, — написал он 15 октября 1919 г., — и не позволять себе писать письма, которые я не могу дочитать до конца, так как я уничтожаю всякое письмо после первой фразы, нарушающей приличие. Если ты позволяешь слушать сплетни про меня, то я не позволяю тебе их сообщать мне».

³³ Сафонов Василий Ильич (1852–1918) — пианист, дирижер, музыкальный педагог. К созданной им пианистской школе принадлежит во втором поколении известный у нас американский пианист, лауреат Международного конкурса им. Чайковского Ван Клиберн (Примеч. ред.)

³⁴ Тимирев Сергей Николаевич (1875–1933). Его военно-морская служба неоднократно проходила там же и примерно в том же качестве, что и у Колчака. Произведен в контр-адмиралы в 42 года летом 1917-го («за отличия в делах против неприятеля»). После Октября вышел в отставку. Был командирован во Владивосток советским правительством как флотский специалист. Оттуда эмигрировал в Китай. (Примеч. ред.)

тасовке был заколот штыками. Этот инцидент еще больше обострил отношения Колчака с легионом.

Когда Колчак в первый раз собрался на фронт как верховный правитель, договорились выделить ему в сопровождение пятьдесят солдат из 1-го батальона 9-го Гэмпширского полка. Узнав об этом, генерал Жанен выдвинул серьезнейшие возражения на том основании, что полностью британский эскорт подрывает престиж Франции. После долгих, утомительных переговоров приняли концепцию англо-французского эскорта. К несчастью, единственными французскими военными в Омске, кроме офицеров миссии, были их ординарцы, денщики и незаменимый повар, и мало кем из них решились пожертвовать. Так что пришлось снизить требования, и эскорт верховного правителя сократили до двадцати человек: по одному офицеру и девяти рядовых от каждой из двух главных союзных армий.

В необходимости надежной охраны никто не сомневался. При всех его перемещениях принимались меры предосторожности — с такими же в течение нескольких следующих десятилетий знакомили мир более значительные и, к сожалению, более долговечные диктаторы. «Охрана окружала его постоянно, большого скопления народа не допускали, а за собравшимися пристально следили; на всем пути его следования расставляли часовых и скорость движения соблюдали максимально возможной». Этот рассказ одного из британских офицеров о мимолетном визите Колчака в Троицк к казакам Дутова формулирует стереотип, применявшийся позже в не столь отдаленных уголках Европы.

Диктаторы обычно не могут похвастаться большим ростом. Колчак не был исключением, но внешность имел внушительную. «Очень невысокий человек с пронизательным взглядом. Примерно таким я представлял себе Наполеона», — отозвался о нем молодой британский офицер. Однако, в отличие от Семенова, старавшегося походить на Наполеона и знаменитым жестом — он закладывал ладонь за полу мундира, — и локоном на лбу, который каждое утро укладывала его любовница, Колчак вел себя абсолютно естественно. Вероятно, из-за текшей в его жилах тюркской крови — его род имел половецкие корни — он был наименее русским из всех русских белогвардейских лидеров. Скромный, лишенный чувства юмора, молчаливый и одержимый своим служением, он как будто не принадлежал к суетному сообществу, которым правил. Такое впечатление, словно мы смотрим драму, в которой главная роль написана и исполнена в стиле, совершенно отличном от остальной пьесы.

«Я признаю, — писал Нокс в Военное министерство в январе 1919 года, — что всем сердцем симпатизирую Колчаку, более мужественному и искренне патриотичному, чем кто-либо другой в Сибири. Его трудная миссия почти невыполнима из-за эгоизма японцев, тщеславия французов и безраз-

личия остальных союзников. В России не приходится выбирать, и если вы находите честного человека, смелого, как лев, его следует поддерживать, пусть он даже и не обладает, по мнению участников Версальского мирного договора, мудростью змеи». Никто, даже Жанен, никогда не подвергал сомнению смелость Колчака и его честность, однако, по некоторым источникам, в Сибири его характер испортился, и адмирал уже не был таким, как прежде.

Юный русский морской офицер, Федотов-Белый, служивший под началом Колчака на Балтике в начале войны, оказался прикомандированным к американской военно-морской миссии, посетившей Черноморский флот в 1917 году. При переезде миссии из Севастополя в Петроград по железной дороге Белый в качестве посредника и переводчика присутствовал на встречах, где обсуждалась поездка Колчака в Америку. Тогда же адмирал заподозрил навязчивого моряка в шпионаже в пользу большевиков и хотел пристрелить его на месте. Адмирала с трудом удержали от расправы. Федотов-Белый прокомментировал этот инцидент так: «Видимо, начинало сказываться напряжение, в котором он находился (с Февральской революции), и уже не мог контролировать себя... Я отчетливо видел колоссальные изменения, произошедшие с ним с дней наших последних встреч в Рижском заливе».

Белый (который производит впечатление благожелательного и надежного свидетеля) появился в Омске в начале 1919 года после службы в ВМС Великобритании. Колчак послал за ним, и они беседовали целый час. «Верховный правитель, — писал Белый впоследствии, — произвел на меня странное впечатление. Он казался менее взвинченным, чем во время наших последних встреч по пути из Севастополя и в Англии перед отплытием в Америку. Однако в нем чувствовалось некоторое равнодушие. Он постарел и был уже не тем активным, энергичным человеком, каким я знал его в прежние времена на флоте. Он словно стал фаталистом, чего я за ним раньше не замечал. Он не показался мне «избранником судьбы», скорее он просто устал от метаний и борьбы в незнакомой среде». Точность этой характеристики подтверждается и другими источниками. Ведущий актер поднимался на сцену тяжелой походкой обреченного человека.

В международных войнах затишье — нормальное явление, выгодное армиям обеих сторон, чего нельзя сказать о войнах гражданских. В междоусобной борьбе военные действия и их прямые последствия насыщены более глубокой ненавистью, жестокостью и озлоблением, чем конфликты между солдатами разных стран. Когда бои затихают, маятник стремится в противоположную сторону. Чужеземная армия использует долгожданную передышку для отдыха, возмещения потерь и переформирования. Солдаты получают отпуск и возвращаются полные сил. Армии пополняются новыми рекрутами, разрабатываются новые планы, подвозятся ресурсы, поднимается бое-

вой дух. К концу затишья войска становятся сильнее и боеспособнее, чем прежде.

В Гражданской войне тенденции противоположны. Как только прекращается умерщвление, необходимость убийства ставится под сомнение. Возражаются неуверенность и отвращение. Человеческое общество устроено так, что, если одна нация воюет против другой, обе воюющие стороны с равным упорством верят в справедливость дела своей страны. Однако в Гражданской войне только фанатики и идиоты, в чьи мозги даже не закрадывается мысль о том, что нельзя раздирать на части собственную страну, убивают соотечественников и грабят их дома.

В Сибири эти нравственные сомнения усугублялись более земными факторами. Война становилась наиболее популярной, когда была наименее реальной: в долгие зимние месяцы. Деревня нуждалась в молодых мужчинах (и лошадях) как раз тогда, когда в них нуждалась и армия. Даже активность партизан снижалась во время весенней пахоты и сбора урожая. И в белой, и в Красной армии мобилизация шла в основном среди крестьян. Искусение уклониться от призыва, дезертировать или не вернуться из отпуска коренилось в аграрной экономике.

И хотя эта тенденция характерна для обеих сторон, большевики не только умудрялись удерживать уровень потерь в определенных границах, но сумели также — в отличие от белых — увеличивать потери противника с помощью пропаганды. Пропагандой занимались либо агенты, внедряемые в ряды белых, либо члены партии, уже находившиеся за линией фронта. Особенно эффективной была эта тактика в городах и деревнях вдали от линии фронта — их обитатели не испытали всей безжалостности власти большевиков и помнили лишь короткий и относительно спокойный период предыдущего года.

В Сибири отсутствовала благодатная почва для марксистской революционной догмы. Там никогда не было ни помещиков, ни огромных имений, да и крепостных тоже. Крестьяне не были запуганными работягами, влачившими жалкое существование на крохотных земельных участках, скорее они были похожи на первых поселенцев, и их фермы, занимавшие в среднем сотню акров, в десять раз превышали наделы крестьян в Европейской России. Население, сильно разбавленное ссыльными и их потомками (включая большое число поляков), бродягами и бежавшими преступниками, по традиции придерживалось независимых взглядов. Тайное общество, поставившее своей целью автономию Сибири, было создано еще в шестидесятых годах XIX века. Прочувствовав на своей шкуре тяготы самых разных форм централизации, сибиряки в их грядущую пользу не верили.

Однако большевистская пропаганда и не нуждалась в особой соблазнительности, чтобы убедить большинство людей в преимуществе любой вла-

сти перед установившейся в Омске. Всего лишь двенадцать процентов населения владели грамотой. Вне относительно просвещенной зоны Транссибирской железной дороги, где население хотя бы приблизительно знало о том, что происходит, вряд ли кто-либо понимал, за что и против кого сражаются белые. Гражданскую войну народ познавал через мобилизации, реквизиции, налоги и декреты, и любой, кто уверял, что с этими неудобствами не только следует, но и можно покончить, мог рассчитывать на благожелательных слушателей.

Нокс как-то спросил старого крестьянина, пожившего и под белыми, и под красными, какую сторону он предпочитает. «Ту, что грабит поменьше, — ответил старик. — При царе Николае мы жили лучше, чем теперь. Они называют это свободой, но это всего лишь грабеж».

Сообщения о зверствах и поборах большевиков, часто подтвержденные свидетельствами беженцев, порочили советскую власть, однако во многих районах подчиненные верховного правителя творили еще более страшные злодеяния. Вряд ли стоит пытаться составлять полный список преступлений, совершенных обеими сторонами. По какой шкале ценностей уравнивать 670 человек, расстрелянных в Уфе казаками, с 348, зверски убитыми семеновцами близ Читы, или с 50 тысячами жертв ВЧК, мужчин и женщин, за период Гражданской войны (такую цифру озвучил Чемберлен, основываясь на опубликованных советских источниках)? В общем, как говорится, все хорошо.

Один из высших уральских чиновников, объявляя о своей отставке, заявлял, что военные власти, включая младших офицеров, считают себя знаатоками в гражданских вопросах и игнорируют гражданские власти. Казни без суда, телесные наказания мужчин и даже женщин, убийства заключенных, якобы при попытке побега, аресты по доносам стали нормой жизни. И не было случая, чтобы офицера признали виновным в каком-либо из перечисленных преступлений.

У белых не было эффективного пропагандистского аппарата (хотя на одном из этапов британская военная миссия в Омске затребовала со своей базы во Владивостоке «воздушные шары с воззваниями»), и народ, которому пять военных лет твердили о патриотизме и чувстве долга, вяло реагировал на их высокопарные манифесты. Профессор Парес, страстный сторонник омского режима, писал: «Это еще вопрос, правил ли Колчак Сибирью; она жила своей собственной жизнью без него и отдельно от него».

В ту жизнь верховный правитель вернул один важный элемент. Запрет на производство и продажу водки, введенный царем вскоре после начала войны, исполнялся в Сибири лишь отчасти, но привел к подпольной перегонке и потреблению, тем самым причинив множество неудобств. Омское правительство отменило этот запрет и, объявив государственную монополию на торговлю алкоголем, получило приличный доход.

Большевики же в отношении водки придерживались царской политики, может быть, потому, что довольно многие их лидеры были евреями, более воздержанными в питье, чем русские, что и влияло на их отношение к этому вопросу. В районах, оккупированных Красной армией, разрушались винокуренные заводы и уничтожались запасы водки. И хотя, несмотря на столь непопулярные меры, недостатка в алкоголе никогда не ощущалось, пьянство в войсках не было для большевиков столь серьезной проблемой, как для белых. Грондийс, журналист датско-японского происхождения, на тот момент самый предприимчивый и опытный военный корреспондент в Сибири, участвовал в весеннем наступлении армий Колчака. Он полагал, что «не самым маловажным фактором» их успеха было то, что на территориях, освобожденных от красных, невозможно было достать алкоголь.

Однако ни пропаганда, ни трезвость войну не выигрывают. Кроме лучшего руководства, более крепкой дисциплины и мощного стимула, советские войска обладали важными преимуществами перед своими противниками, не очевидными для стратегов английского и прочих правительств. Главное преимущество состояло в том, что коммуникации красных были короче и, в отличие от белых, им не приходилось слишком тревожиться о ситуации в своих тылах (хотя крестьянское восстание в районе Сызрани в начале 1919 года поставило в очень трудное положение 5-ю армию красных). Географическая карта отражала ситуацию, в высшей степени благоприятную для интервентов: Колчак находился в 650 километрах от Москвы; с юга быстро продвигался к столице Деникин; базировавшиеся в Архангельске армии давили на севере; над Петроградом нависла угроза из Финляндии. Но, как обнаруживает любой оккупант, в России главную роль играет не острие копья, а его древко. Деникин, оторвавшийся от своих черноморских баз по фронту шириной 1126 километров, безнадежно растянул свои коммуникации; Колчак находился в 8000 километров от Владивостока, и положение в тылах обеих армий становилось все более взрывоопасным и неконтролируемым. Добавьте сюда отсутствие эффективной связи, не говоря уж об отсутствии согласованной стратегии у всех белых лидеров, тогда как Красная армия при необходимости могла перебрасывать войска с одного фронта на другой, и мы увидим, что шахматный подход к ситуации, как всегда, обманчив и опирающийся на него оптимизм необоснован.

Нокс так комментировал развал царских армий в 1917 году: «Чтобы упорно добиваться победы посреди сплошного бедствия, требовался более совершенный вид рода человеческого». Капитан Хогрейв-Грэм из гэмпширцев, свидетель разгрома Дутова в оренбургском секторе, полагал, что русские «не умеют упорно преодолевать превратности судьбы»: русский отказывается бороться, говорит, что надежды нет, и терпеливо ждет конца, при-

чем мужчина напивается, а женщина рыдает. Этот недостаток проявился по всей Сибири, когда в конце мая ситуация начала быстро ухудшаться.

Наступление большевиков не сопровождалось тяжелыми боями. У обеих сторон было мало войск. 27-я дивизия, которая шла в авангарде 5-й армии красных до Мариинска, насчитывала немногим более 4 тысяч человек, а во многих белых «дивизиях» было меньше тысячи человек. Более того, красные испытывали те же административные трудности, что и белые. Отступление стало бесконечным процессом. Иногда мы слышим о командующих, которые ведут себя как полевые офицеры. Каппель, например, управлял своим арьергардом, мчался на коне среди солдат, разделяя с ними все опасности. Однако по большей части командиры и штабы размещались в личных поездах, их часто сопровождали собственные или чужие жены или дамы, игравшие, грубо говоря, роль маркитанток.

Все это вызывало неодобрение и насмешки и тогда, и впоследствии, но, по сути, пока дела шли хорошо, можно было многое сказать и в пользу сложившегося положения. Русские женщины — изобретательные помощницы воинов, и во время наступления далеко не всегда квалификация командира страдает оттого, что его и нескольких его офицеров сопровождают жены или любовницы. Дамы, которые готовили пищу, стирали, иногда помогали печатать и шифровать документы и так далее, ни в коем случае не были *лишними ртами*. У многих из них в Сибири не было собственного дома, и, следуя за войсками, они избавляли мужчин и от тревог, и от лишних расходов. Похоже, что их присутствие не возмущало солдат, считавших офицерские привилегии само собой разумеющимися.

Но когда дела пошли плохо, ситуация перестала восприниматься столь благосклонно. Беспокойство за женщин, находившихся в поезде командующего, часто диктовало тактику отступления. Штаб не просто отходил с несоответствующей ситуации поспешностью, но, лишь начав движение, уже не останавливался, дабы избежать неотвратимых на всех железных дорогах пробок, и в конце концов часто случалось так, что генерал и его штаб, и их любимые со всеми картами и шифровальными блокнотами, и денежным содержанием армии, и резервным боезапасом полным ходом мчались на Восток и безвозвратно исчезали с театра военных действий.

Нет смысла говорить, что не всегда командование вело себя столь при-скорбно, но следующие за войском женщины, несомненно, были серьезной причиной слабости армии, которая и в лучшие свои времена не могла похвастаться особой отвагой. В сообщении британской военной миссии из Омска сообщалось, что «все офицеры от высших чинов до низших возят с собой жен или любовниц и в случае паники занимаются не войсками, а своими женщинами», и далее следовал пассаж о жене командира полка, не успевшей бежать и убитой вместе с мужем при отступлении.

В конце апреля Западная армия Колчака угрожала Казани и Самаре; севернее его Сибирская армия под командованием чеха Гайды в начале июня взяла Глазов и, как казалось в тот момент, имела весьма радужные перспективы на соединение с войсками Архангельского плацдарма. Однако обе армии, неумело управляемые Ставкой, никоим образом не поддерживали друг друга. Наступление армии Гайды продолжалось, несмотря на катастрофы, постигшие в мае части его левого фланга, но вскоре и его войска бежали по всему фронту. К середине июля большевики захватили Урал.

Глава 14

По всей России интервенция выдыхалась. К концу марта 1919 года войска Антанты и ее союзников выгнали с Украины, к концу апреля они отступали из Центральной Азии, к концу июня — из Закавказья, к концу августа — из Баку и Архангельска. Решение отозвать из Западной Сибири два британских батальона застало Колчака в разгар его наступления на Москву. Только в Восточной Сибири американцы и японцы, охваченные взаимными подозрениями, должны были оставаться на позициях до конца года по причинам, практически не связанным с основными результатами Гражданской войны.

Как исторический эпизод, интервенция напоминает игру, организованную в конце детского праздника. Маленькие гости вяжутся в эту игру с энтузиазмом, маленький хозяин в восторге, некоторое время всем безумно весело. Однако с наступлением сумерек из сада возвращаются матушки и нянюшки, одного за другим участников игры уводят из теплого дома, на мольбы безутешного хозяина не обращают внимания. Игра и с ней праздник закончены. Занавес опускается. Воцаряется ночь.

Интервенты никогда не пользовались популярностью в России, где в конфликте между гостеприимством и ненавистью к иностранцам (ксенофобией) в конце концов всегда побеждает более фундаментальное, но менее приятное чувство. Белые обеими руками хватались за все, что им давали, рассыпались в благодарностях и тут же начинали жаловаться на недостаточность предложенной помощи, необходимость ограничивать себя во всем и на то, что их предали. Большую часть полученной материальной помощи потратили попусту или неправильно использовали из-за некомпетентности, нечестности либо небрежения, однако, когда представители союзников, шокированные мотовством, свидетелями коего они были, пытались убедить своих протезе исправить положение, белые обижались. «Я полагаю, что стоит приостановить оказание военной помощи Сибири, пока мы не получим ка-

кие-либо гарантии разумности использования нашей помощи», — телеграфировал Нокс Военному министерству в начале августа.

Пожалуй, ничто не иллюстрирует истинную природу отношений между сибиряками и их союзниками лучше, чем короткая история англо-русского полка. План его формирования (первоначально собирались сформировать бригаду), в апреле разработанный Ноксом, пылко одобрили в Ставке. Интервенция, какой она виделась из Омска, уже была по большей части британской. Увидев в начале мая парад 10-тысячного войска в Екатеринбурге, капитан Хогрейв-Грэм из Гэмпширского полка, записал в своем дневнике: «Боле всего меня, как британца, поразили свидетельства сильного британского влияния и помощи. Екатеринбург — всего лишь один из нескольких дюжин учебных центров, а Сибирская армия — всего лишь одна из нескольких русских армий. Однако когда целый час наблюдаешь, как мимо маршируют взвод за взводом, рота за ротой, батальон за батальоном и все с британскими винтовками и снаряжением, в британских мундирах, ботинках и крагах, испытываешь глубокое потрясение. Британский оркестр играл британские мелодии».

Уже некоторое время было известно, что 1-й батальон 9-го Гэмпширского полка вскоре должен вернуться на родину, однако достаточное число добровольцев из этого батальона и инструкторов, подчинявшихся военной миссии, предполагалось использовать как офицеров нового полка, состоящего из русских солдат и сержантов. Эти британские добровольцы обменяли спокойное возвращение домой и скорую демобилизацию на неопределенный срок пребывания в Сибири, ведение боев в тяжелых условиях и командование солдатами, на чьем языке мало кто из них говорил. Поэтому ясно, что их настроения глубоко контрастировали с настроениями большинства русских офицеров, которых, как телеграфировал на родину в июле верховный комиссар, во всех сводках с фронта называли «глупыми, эгоистичными, трусливыми, развратными и продажными».

Бурно одобренный, проект англо-русского полка очень скоро столкнулся с первоначальными трудностями неожиданного свойства. «То ли преднамеренно, то ли случайно, — отмечал Хогрейв-Грэм 19 мая, — почти все полученные нами новобранцы отличались ужасающе хлипким телосложением». В его роте пришлось забраковать 93 человека из 297, и «все равно многие из оставшихся в раздетом виде вызывали щемящую жалость».

Три недели спустя «стало ясно, что полк в городе очень непопулярен, во всяком случае среди офицеров. Русские офицеры останавливали и наказывали наших маленьких солдатиков за то, что те салютовали им по-британски». Они жили в антисанитарных условиях, испытывали трудности с водой. «Чтобы помочь этим проклятым русским, мы промаршировали вокруг света, а они не дают нам питьевую воду и приходится посылать за ней вооруженных солдат».

Прошло еще две недели. Рушился Уральский фронт. 14 июня все в том же дневнике отмечалось: «Последние два дня запомнятся ошеломляющим и отвратительным взрывом избиений солдат. За сорок восемь часов не менее семи наших бедных русских солдатиков были жестоко избиты русскими офицерами за английские приветствия... Более всего прочего нас возмущает отвратительная трусливость этих действий. Если мы их раздражаем, то почему они не вымещают свою злобу на британцах? Почему они избивают наших невооруженных солдатиков за исполнение полученных ими приказов?»

Ситуация на фронтах быстро ухудшалась, и несколько дней спустя было решено, что англо-русский полк (прошедший менее чем двухмесячную подготовку и еще не получивший оружия) необходимо перевести из Екатеринбурга в Омск. «Невозможно не усомниться в мудрости политиков, заставляющих нас обращаться в бегство, как только враг появляется в 200 километрах от нас». Затем планы изменились. Солдаты получили винтовки и после короткой стрелковой подготовки отправились на фронт под командованием русских офицеров, так как наконец-то стало ясно, что без знания русского языка британцы не смогут контролировать в бою необстрелянные войска.

Последнее упоминание об англо-русском полке появляется в связи с тем, что двести человек из других соединений, по здоровью непригодных к строевой службе, главным образом из-за самострелов, были размещены в их казармах, «и за границей царило подавленное настроение». 7 июля парад, на котором британцы официально передали командование русским офицерам, начался на одиннадцать часов позже назначенного времени³⁵.

Если — хотя это кажется невероятным — кто-то еще надеялся, что ощущение надвигающегося кризиса встряхнет и возродит омский режим, то его ждало разочарование.

В армии — развал; в штабе — невежество и некомпетентность; в правительстве — моральное разложение, разногласия и интриги честолюбивых эгоистов; в стране — мятежи и анархия; в общественной жизни — паника, эгоизм, коррупция и повсеместная подлость. Барон Будберг, поставивший такой диагноз, был военным министром и судил не по чужим, несправедливо резким отзывам, а по собственному опыту. Сам Колчак в письмах жене писал, что многие из белых не лучше большевиков. Поскольку он считал большевиков дьяволами во плоти, резче выразиться он не смог бы. Еще он говорил, что у окружающих нет ни чести, ни совести, ни чувства долга — ничего, кроме апатии, безразличия, казнокрадства и погони за легкими деньгами.

³⁵ В Архангельске в тот же день бесславно закончился похожий, но более амбициозный проект формирования Славяно-Британского легиона, когда две роты батальона Дайера, названного так по имени его командира-канадца, убили пятерых британских и четверых русских спящих офицеров. Двенадцать зачинщиков публично расстреляли из пулеметов.

В то время как белые армии отступали во все большем беспорядке, Колчак и его советники прибегли к ряду уловок. Одними они рассчитывали ослабить давление на фронт, другими — поднять боевой дух и укрепить пошатнувшуюся по всей Сибири волю к сопротивлению.

В июне, несмотря на то что верховный правитель с тупым постоянством отвергал просьбы Финляндии и стран Балтии о предоставлении независимости, Юденичу, белогвардейскому командующему на Балтийском театре военных действий, и Маннергейму, национальному лидеру финнов, были посланы срочные призывы перейти в совместное наступление на Петроград. Однако, хотя на одном из этапов кавалерийские патрули достигли окраин бывшей столицы, упорные защитники города, вдохновляемые Троцким, не дрогнули и отразили атаку, в которой для устрашения использовались британские танки. Затем генерал Дитерихс, глубоко религиозный человек (стены его личного вагона были вплотную увешаны иконами), предложил превратить борьбу с большевиками в священную войну, в которой аллах, как заверили башкир и другие мусульманские меньшинства, заинтересован не меньше христианского бога. И из этого ничего не вышло.

Русские с неискренним пылом заигрывали с прибывшей в Омск в июле японской миссией, однако надежды на открытую военную поддержку не оправдались. Поговаривали о возможном альянсе с Германией. Чтобы сделать режим более популярным, был проведен ряд административных реформ, безусловно демократических по своему характеру. «Я думаю, что эти меры очень сильно опоздали», — прокомментировал британский верховный комиссар и был прав.

В июле телеграммы из Лондона расписывали вдохновленный Черчиллем план, по которому чехи должны были с боями пробиться в Архангельск и оттуда морем отправиться домой. В Уайтхолле рассчитали, что, если чехи энергично возьмутся за дело, у них хотя бы есть шанс добраться до Ледовитого океана прежде, чем его воды замерзнут. Казалось, что даже крохотность этого шанса поможет чехам не застрять в Архангельске из-за зимы и большевиков и послужит для них стимулом. Но эта непрактичная схема не заинтересовала чехов и была быстро забыта.

Белое дело в Сибири было обречено на провал, а ведь чуть более года прошло после челябинского инцидента, являвшегося точкой отсчета всего процесса. Единственной надеждой на спасение — или скорее на продление агонии еще на одну зиму — были решительные действия свежих войск в тылах. Передовые части Красной армии, слабые и растянутые, сильно зависели от железных дорог. Если бы отступающие белые армии, усталые, деморализованные, не имевшие в военном отношении никакой ценности, отводились в резерв, а дорогу наступающим красным преграждали бы маленькие отряды с талантливыми и напористыми командирами, триумфальное

продвижение Красной армии можно было бы остановить и даже временно обратить ее в бегство.

Попытки подобного рода предпринимались. Однако нерасторопность Ставки и заторы на железных дорогах в любом случае ставили их успех под угрозу. Довершала дело ненадежность обычно применявшихся «ударных частей». В белых армиях вошло в моду формирование отрядов диверсионного типа и присваивание им знаков различия в виде черепов и прочего, уместных для самых жестоких и одержимых вояк. Однако эта характерная атрибутика, без сомнения поднимавшая боевой дух солдат в дни побед, приводила к обратным результатам, когда одолевала другая сторона, ибо, если такой солдат попадал в плен, его знаки отличия и особое снаряжение выдавали в нем особенно яростного врага советской власти, и обращались с ним с особой жестокостью. Самым надежным способом избежать такой судьбы было дезертирство и побеги, и отборные части этим не брезговали. Одну из таких частей называли бессмертным полком. «Если этот полк, — размышлял один военный корреспондент, — без потерь выйдя из боя, не обрел бессмертия, это не вина офицеров и солдат, они сделали для этого все в пределах человеческих сил».

Красная армия лишь должна была действовать в том же духе. Белые отступали не столько из-за военных поражений, сколько из-за резкого упадка боевого духа.

Религия, отмечал Деникин, перестала быть одним из моральных стимулов, поддерживавших дух русской армии. У Нокса создалось такое же впечатление. Он признавал, что «церковь на нашей стороне», однако служителей церкви считал «всего лишь слабыми стариками или узколобыми реакционерами». Одному из командиров дивизий пришлось прогнать всех четырех полковых священников за пьянство. У белых не было ни идеалов, ни принципов, ни веры, ни надежды, кроме надежды выжить.

Естественно, вся ответственность за происходящее легла на Колчака. Пусть не охотно, но он принял на себя обязанности верховного правителя и правил отвратительно или позволял так править другим. Омск был клоакой беззакония и глупости. Колчак прекрасно сознавал это, но не предпринимал никаких эффективных мер, чтобы изменить порядок вещей. Он так и не овладел ситуацией, и не потому, что был слаб или имел влиятельных соперников. В его превосходстве не было ничего искусственного или сомнительного, он был самым могущественным человеком в Сибири и самым уважаемым — львом среди шакалов. Он имел все качества диктатора, кроме желания быть диктатором.

Он так и остался не более чем номинальным Верховным главнокомандующим. Как сказал Семенов, «для нас адмирал — нечто вроде гражданского чиновника». Из представителей вооруженных сил всех времен и народов

Колчаку, пожалуй, менее многих подходила такая характеристика, однако уместно отметить, что его блестящий военно-морской опыт не соответствовал военным проблемам, с которыми пришлось столкнуться в Сибири. Авантюризм морских сражений — необходимость быстро принимать решения, опора на хорошие коммуникации, на скорость и гибкость при маневрировании — сменился на медлительные осторожные военные действия, которые периодически прерывались из-за климата и которым постоянно мешали тыловые проблемы.

Однако адмирал виноват в том, что не сумел взять под контроль свой штаб или выбрать более подходящих командиров. Раздувшийся персонал Ставки не только олицетворял все худшие пороки русской военной бюрократии — он насквозь пропитался бессовестностью, кумовством и интриганством. В таком окружении омерзительному Лебедеву удалось укрепить свои позиции. «Возросшая власть Лебедева, — докладывала британская военная миссия в конце июля, — послужила причиной быстрого перехода к чрезвычайному положению, поддерживаемому горсткой его ближайших помощников и несколькими приспешниками из казачьего офицерства, которые верили, что, если людей хорошенько сечь, они будут сражаться за существующее правительство. Последнее ничему не научилось в революции и является самым прогнившим и самым вредным элементом в стране».

Поскольку строевые части всегда придерживаются низкого мнения о штабе, то их душевное (в противовес материальному) благополучие вряд ли зависит от того, что штаб действительно плох. Но в то же время армия чрезвычайно чувствительна к обстоятельствам, влияющим на их лидеров, и ничто не подрывает уверенность солдат так, как частая смена командующих. А Колчак постоянно производил подобные замены и, по сути, только таким образом и влиял на события на фронте.

Из множества командиров, пострадавших от перемен, самым значительным был Гайда. В начале 1919 года инициативного чешского капитана, хоть он и был иностранцем и не достиг тридцатилетия, произвели в генералы и назначили командовать Сибирской армией, а позже доверили ему и Западную армию. Однако когда судьба от белых отвернулась, Гайда попал в немилость. После бурной встречи (во время которой, по словам Гайды, верховный правитель разбил чернильницу и сломал несколько карандашей) он был снят с поста и на вооруженном пулеметами, чтобы избежать захвата, собственном поезде отправлен во Владивосток «Его падение, — комментировала британская военная миссия, — тем более прискорбно, что произошло вскоре после его назначения главнокомандующим Сибирской и Западной армиями и по этому поводу он получил поздравительные телеграммы от различных гражданских организаций и общин Сибири». Смещение Гайды и то, как это было обставлено, пагубно повлияло на военную и политическую

ситуацию, чего в час кризиса рассудительному лидеру следовало бы избежать любой ценой.

Все новые смены командующих, еще более бессмысленные реорганизации, еще более недостойные призывы к общественности не могли остановить наступление большевиков. Насколько недейственными были перечисленные меры, демонстрирует нерешительное контрнаступление белых под командованием Дитерихса, предпринятое в конце сентября. Красную армию отбросили к реке Тоболу, выдвинувшись на некоторых участках фронта почти на 160 километров. Ставку охватил безумный оптимизм, впрочем, вскоре, однако, сменившийся глубочайшим унынием. «По общему мнению, — сообщила британская военная миссия в Военное министерство 10 октября, — боевой дух красных быстро падает, и, если они до зимы не получат теплого обмундирования, их армия растает». Пустая болтовня. Слабое наступление белых вскоре выдохлось, и их отбросили назад. Красная армия перешла в наступление.

«Большевистские командиры теперь сильно превосходят наших, — докладывал Нокс еще в августе, — и некоторые их части сражаются с убежденностью, коей в наших частях нет». И эти слова с каждым днем все более приближались к истине. 27-я дивизия красных, возглавлявшая наступление, продвигалась в среднем на 40 километров в сутки. Из телеграммы, датированной 29 октября, министерство иностранных дел узнало, что накануне ночью принято решение эвакуировать правительственные учреждения из Омска в Иркутск, а золотой запас погружен в товарные вагоны и не будет отправлен на восток до тех пор, «пока остается возможность удержать Омск». Если в Ставке думали, что такая возможность существует, то эта фраза может служить мерой глупости омских штабистов.

Омск стоит на левом, западном берегу реки Иртыша, и потому беззащитен, во всяком случае, когда его обороняет слабая и деморализованная армия. Более того, зима запаздывала, и Иртыш еще не замерз, то есть если отступить в последнюю минуту, то придется бросить практически все оружие, транспорт и другое тяжелое снаряжение, выделенное для обороны города. По этим убедительным причинам Дитерихс, заменивший Гайдю на посту главнокомандующего, убеждал эвакуировать войска и попытаться построить оборону на правом берегу реки.

Колчак отверг этот разумный план. По его мнению, Омск имел символическое значение и его следовало защищать до последнего. Адмирал говорил, что умрет на улицах города вместе со своими преданными сторонниками. Дитерихс подал в отставку, и его сменил Сахаров, хвостун и приспособленец. «Это последняя капля», — писал в своем дневнике один из офицеров Нокса 3 ноября. Четыре дня спустя он встретился с новым главнокомандующим, которого нашел «очень довольным собой... улыбчивым и самоуверенным».

9 ноября неожиданно потеплело. Сто семьдесят восемь артиллерийских орудий все еще стояли на западном берегу Иртыша. Единственный мост был железнодорожным, и лошади по нему пройти не могли. Орудия пришлось бы грузить в вагоны. Красная армия была в 60 километрах от города. Сахаров, не теряя жизнерадостности, признал, что Омск неминуемо падет через пять, максимум пятнадцать дней. Иностранные миссии покинули город. В Омске еще оставались британская железнодорожная миссия, семь офицеров и солдаты британской военной миссии, один француз и один японец.

12 и 13 ноября грянули морозы. Большинство орудий доставили на правый берег по льду. Большинство политических заключенных расстреляли. Сахаров исчез. 14 ноября передовые отряды 27-й дивизии красных вошли в город. Кое-где на улицах постреляли, но организованного сопротивления красные не встретили. К ночи Омск уже был захвачен большевиками; в плен взяли 10 тысяч человек, на железной дороге трофеями стали 40 паровозов и более тысячи товарных вагонов, многие из них с грузом.

Еще подмораживало, но красные решили укрепить переправы, замостив их досками и соломой. За последние три недели были наголову разбиты белые армии, угрожавшие Петрограду; передовые отряды Деникина вытеснены из Орла, партизаны и красная кавалерия сеяли панику в тылах, и деникинские армии начали отступать по всему Южному фронту. Преследование Колчака в Сибири могло продолжаться без ущерба для более важных районов.

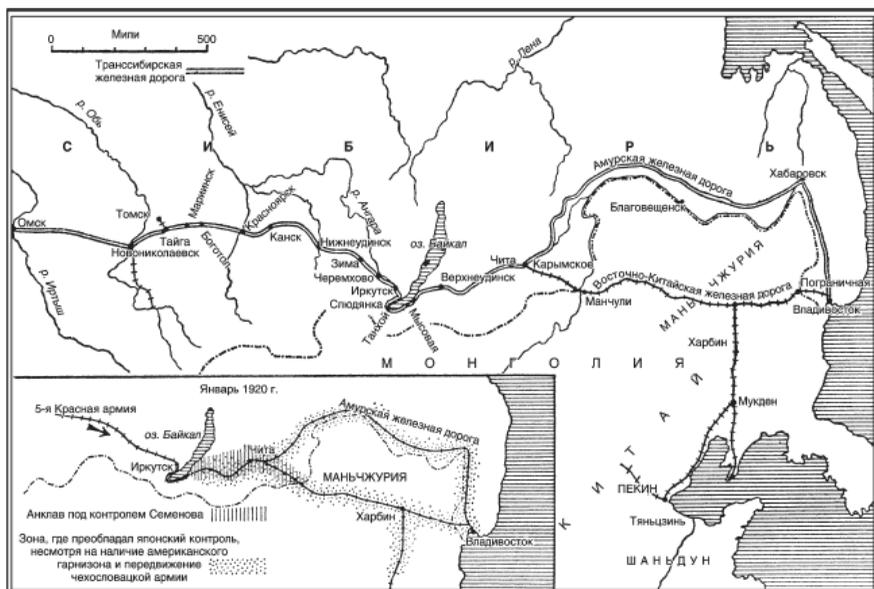
Глава 15

Верховный правитель покинул Омск за несколько часов до того, как в город вошли красные. Его министры, отправившись в путь четырьмя днями ранее, почти добрались до Иркутска, но сочли местную расстановку сил неблагоприятной. Чехословацкий национальный совет, по меньшей мере его русская секция, только что публично выразил недоверие правительству Колчака и осудил его методы. Пользующиеся влиянием в этом регионе социал-революционеры и меньшевики отвергли идею коалиции, возглавляемой адмиралом. Беглые министры сформировали временный кабинет, но поскольку он не имел ни властных полномочий, ни общественной поддержки, ни административных органов, Сибирь, по существу, осталась без правительства.

Колчак (в сопровождении Тимиревой), его штаб, свита и отборная охрана ехали в шести железнодорожных составах (один из них — бронепоезд). В седьмом эшелоне находился золотой запас. Огромное сокровище занимало двадцать девять товарных вагонов. Комендант поезда и чиновники Государственного банка ехали в пассажирском вагоне в середине состава. Этот

вагон имел телефонную связь с двумя теплушками (одна в голове и другая в хвосте поезда) с вооруженной охраной.

Разные свидетели по-разному оценивают груз (кроме золота, там были платина и серебро) на этой стадии, но вряд ли его истинная стоимость так уж важна. Небольшая часть государственного золотого запаса, первоначально захваченная в Казани, давно была переправлена через Владивосток в Гонконг и была там продана для пополнения омской казны. Возможно, весьма близки к истине истории о том, что Семенов пропустил груз через подконтрольную ему территорию лишь после того, как захватил какую-то его часть. В мае 1919 года британское правительство одобрило проект о займе в 10 миллионов фунтов стерлингов, предоставляемом омскому правительству крупной банкирской фирмой лондонского Сити. Правда, неизвестно, что из этого вышло и участвовало ли в сделке упомянутое золото. Важно то, что, когда Колчак, преследуемый по пятам Красной армией, покинул Омск, в его конвое был поезд с сокровищем, по самым скромным оценкам, стоившим 50 миллионов фунтов стерлингов.



Карта №3. Восточная Сибирь и Маньчжурия

Верховный правитель (чьи собственные финансовые запасы на тот момент составляли 30 тысяч быстро обесценивающихся рублей) считал золотой запас своим талисманом. Еще в августе Нокс, Жанен и верховные комиссары, почувствовав приближение катастрофы, убеждали Колчака пере-

править золотой запас на восток, пока есть время, и предлагали охрану из солдат Антанты. Колчак отказался. «Если я передам золото международной охране, а со мной случится какое-нибудь несчастье, — пророчески заявил он Ноку, — вы скажете, что это золото принадлежит русскому народу и отдадите его любому новому правительству, которое вам понравится. Пока золото у меня, я могу бороться с большевизмом еще три года, даже если вы, союзники, меня покинете».

Его опасения, безусловно, имели основания. К тому же из-за активности партизан и сомнительной лояльности персонала железной дороги любая попытка перевезти золото была весьма рискованной, и в любом случае в Центральной Сибири не было места безопаснее, чем Омск. Тем не менее в упрямстве, с которым Колчак цеплялся за золотой запас, виделось нечто детское. Неотправленное во Владивосток золото не имело никакой ценности, разве что продавать его частями, как контрабанду. Только доверившись союзникам, можно было провезти его в целости и сохранности через забайкальские владения Семенова. Колчак вел себя как собака на сене, но его политика сохранения золота во что бы то ни стало не имела перспектив. Включив состав с золотом в свой медленно передвигавшийся кортеж, он просто увеличил цену собственной головы и сократил свои шансы на спасение.

Министры, покинувшие Омск 10 ноября, проехали 2400 километров до Иркутска за девять дней. Ужасающее состояние железной дороги усугублялось морозами и быстро становилось катастрофическим. Кроме того, уже было поздно исправлять две самые страшные ошибки — задержки по зарплате железнодорожникам (некоторым задолжали за три месяца) и нехватку угля по всей линии. На участке примерно в 480 километров от станции Тайга до Красноярска топлива не было вообще, и поездам приходилось ждать, пока не доставят уголь с востока или из угольных шахт близ Тайги.

Раньше, в том же году, эвакуация Екатеринбургa и других уральских городов сопровождалась хаосом и страданиями. Потом настало лето. Когда из-за поломки или по какой-либо другой причине замирала вереница поездов в полтора километра длиной, пассажиры выходили из переполненных вагонов, разжигали костры, кипятили чай, обменивались новостями с обитателями соседних вагонов. По собственному опыту путешественники знали, что отстать от поезда практически невозможно. Даже если машинист пребывал в дурном настроении и не давал сигнала к отправлению, поезд был таким перегруженным, а локомотив — таким дряхлым, что можно было легко догнать состав прежде, чем он набирал скорость, и в любом случае он не уходил далеко и снова останавливался.

В общем, пока над цветущей равниной пели жаворонки, играли в свои игры дети, бегали собаки, легко одевались женщины, любили друг друга влюбленные и почти все давили вшей, беженцы с присущей русскому чело-

веку жизнерадостностью старались забыть о трагедии и наслаждались праздником на лоне природы. Время от времени мимо них проползал на запад эшелон с пополнением или военным снаряжением, важно посвистывая и возрождая в отдыхающих смутную надежду на победу.

С очередной зимой все стало иначе. Уже ни один поезд не проходил на запад. Обе колеи монополизировали беглецы из Омска. Железная дорога, которая должна была служить фронту, в приоритетном порядке пропускала поезда на восток. Они двигались достаточно медленно, а часто не двигались вообще.

В жуткие морозы, как только заканчивалось топливо, двигатель замерзал, а трубы и бойлер взрывались. Насосы водокачек из-за морозов вышли из строя, и, если не попадался незамерзший колодец, пассажиры выстраивались цепью и наполняли бойлер снегом — изнурительный и длительный процесс. Печки в теплушках и обветшалых пассажирских вагонах поглощали огромное количество дров, а если топить было нечем, пассажирам грозила смерть от переохлаждения. Еды было мало, а уборных не было вообще.

Рядом и пониже железнодорожной *магистральной* вился *тракт* — старая Сибирская дорога, а ныне широкая лента утрамбованного снега от 60 сантиметров до полутора метров глубиной. По ней на санях, верхом или пешком на восток вяло тянулся людской поток. Неукомплектованные полки, эскадроны, насчитывавшие десятка два кавалеристов, артиллеристы с демонтированными пушками на санях, отряды солдат без офицеров, отряды офицеров без солдат — жалкие остатки армии. Вперемешку с солдатами, борясь с ними за крышу над головой, фураж, еду и топливо, тащились беспорядочные группы гражданских лиц — те, кому не посчастливилось достать место в поезде или чей поезд уже застрял на путях: крестьяне с изможденным скотом, дети из сиротских приютов, сумасшедшие, дезертиры.

Бредущие по тракту смотрели вверх на проходящие поезда, как жертвы кораблекрушения на плотике смотрят на проходящий мимо лайнер, зная, что он не остановится подобрать их. Пассажиры поездов смотрели вниз на тракт с разными чувствами в зависимости от того, двигался их поезд или стоял на месте. Если состав стоял, вид соотечественников, движущихся, пусть с трудом, но к спасению, наполнял их безотчетной завистью и дурными предчувствиями. Вспоминая увиденные обломки поездов, потерпевших крушение, думая о нападениях партизан, боясь попасть в окружение при наступлении Красной армии, пассажиры чувствовали себя пойманными в западню, брошенными и проклинали себя за то, что доверились железной дороге. Но если поезд двигался вперед, а в печке трещали дрова, то они смотрели на сгорбленных, облепленных снегом скитальцев внизу без угрызений совести. Жалость атрофируется в ситуации «спасайся кто может».

На станциях новые толпы потенциальных беженцев тщетно пытались пробиться в поезда, коих из-за поломок становилось все меньше. В кабинетах начальников вокзалов бушевали споры из-за того, кто более других достоин билета. Ремонт или замены неисправных локомотивов добивались взятками и угрозами. Телефонные линии, не справлявшиеся даже с официальными переговорами железнодорожного персонала, были забиты отчаянными личными вызовами. Мрачные пропагандистские плакаты, расписывающие зверства большевиков и предназначенные стимулировать мобилизацию, лишь еще больше подрывали моральный дух злополучных растерянных путешественников. На большинстве вокзалов завели места для отчаянных объявлений; как в море бросали запечатанную бутылку с призывом о помощи, так к стене прикалывали записки в надежде восстановить связь между изгнанниками и миром, с которым они разлучались. *«Дорогая Маша, я уехал с эшелонам № 408 11 ноября. Буду ждать тебя и детей в доме Петрова, Большой проспект, дом 12, Иван».* Отсутствие фамилии симптоматично. В атмосфере террора и подозрительности фамилии в объявлениях не указывали.

Печальная участь постигла многие тысячи лошадей, вовлеченных в отступление. В самые сильные морозы их ноздри приходилось размораживать через каждые несколько метров. Фуража не хватало по всему тракту, а крестьянам, жившим поблизости, все труднее было покупать запасы в более отдаленных деревнях, поскольку омские бумажные рубли почти совсем обесценились. Найти кров стало практически невозможно; гондились коровники и конюшни, лишь бы не провести ночь на морозе. Почти все беженцы несли или катили огромные тяжести и, измучившись, в конце концов почти всю ношу бросали на дороге.

Города и деревни были полны брошенных лошадей. Британский офицер, попавший в руки большевиков в Красноярске, оставил такое описание их плачевного положения: «Они были кротки, как домашние собачонки, но ни у кого не находилось времени погладить им морды. Они стояли на улицах, размышляя над удивительной переменой в своей жизни. Они устало тащились по глубокому снегу. Конские табуны чернели на дальних холмах».

Поскольку только что установленная советская власть объявила всех этих лошадей государственной собственностью и установила строгие наказания за их незаконное присвоение, запуганное население шарahalось от дружелюбных животных. В конце концов 5 тысяч лошадей умерли от голода. Их мясо, шкуры и хвосты тайно разбирали. Остатки государственной собственности оставались в снегу и, когда началась оттепель, стали источником инфекций.

В последних эшелонах страх перед преследующей по пятам Красной армией не отступал, но, если, благодаря слухам, вспыхивала паника, она быстро утихала. Более постоянной, более настойчивой и гораздо более острой

была боязнь заболеть тифом. Невозможно даже приблизительно сказать, сколько десятков тысяч людей умерло в ту зиму от тифа. В одном только Новониколаевске с ноября по апрель от тифа умерло 60 тысяч человек.

«Чрезвычайно трудно победить болезнь в Сибири из-за повсеместно неадекватного медицинского обслуживания, антисанитарии в местных жилищах и негигиеничных привычек населения», — писали авторы монографии, материал для которой собирался под эгидой британского МИДа во время интервенции. К зиме 1919 года система здравоохранения совершенно развалилась на огромных территориях. Личная гигиена никогда не была сильной стороной русских, и в переполненных поездах лишь немногие даже из самых обеспеченных беженцев мыли руки или меняли белье. Вши, разносчики тифа, кишели в древесине запущенных железнодорожных вагонов, в рваном солдатском обмундировании, в крестьянских тулупах, в шубах спекулянтов. Мужчины, женщины и дети мерли, как мухи.

Среди сорванного с места населения и отступающей армии болезнь не щадила никого. «Тиф, — писал один британец, свидетель эпидемии, — рождает в здоровых страшную, нечеловеческую ненависть к заболевшим, словно они убийцы, покушающиеся на чью-то жизнь». Когда узнавали или просто подозревали, что в подходящем к станции санитарном или другом каком поезде есть тифозные больные, железнодорожное начальство делало все возможное, чтобы пропустить его без остановки, совершенно не принимая во внимание, что пассажирам необходима помощь, продукты или лекарства.

Часто люди, оказавшиеся в изоляции, умирали целыми вагонами. Никто не знал, сколько людей убил именно тиф, а сколько слишком слабых, чтобы топить печку, — холод.

Все трупы раздевали и, поскольку они быстро деревенели на морозе, складывали, как дрова. Нескольким британцам, попавшим в плен к Красной армии, довелось из толпы наблюдать этот процесс. Один из них отметил, что «офицеры и солдаты, испытывавшие самые страшные ужасы войны во Франции, были потрясены этим зрелищем, а толпа, в которой они стояли, казалось, не испытывала ничего, кроме любопытства». С мертвыми обращались без всякого уважения, что странно для глубоко религиозного народа. «Я видел в России один-единственный гроб — в польской церкви в Новониколаевске, а в саваны заворачивали только мертвых детей».

С тех самых пор, когда тридцать лет назад правительство Александра III начало работу над проектом строительства связующей цепи между Европейской Россией, Восточной Азией и Тихим океаном, Транссибирская железная дорога казалась внешнему миру грозным символом территориального захвата. Подданным Александра и его сына магистраль представлялась по меньшей мере главным национальным достижением, подвигом, который просто не может не изменить к лучшему жизнь огромной части нашей пла-

неты. Как ни смотреть на этот проект — с надлежащей гордостью или, как оказалось, с излишней тревогой, — с политической, стратегической или экономической точки зрения, нельзя отказать Транссибирской железнодорожной магистрали в величии и почти жюль-верновской фантастичности.

Теперь, менее чем через двадцать лет после завершения, эта главная транспортная артерия, этот символ имперской мощи и имперского предвидения потерял свое предназначение и свое величие. Вызывающая чувство гордости железная дорога стала *крестным путем*, длинной узкой сценой, на которой разыгрывались бесчисленные трагедии. С черепашьей скоростью сквозь смертельную зиму она несла неизмеримый груз страданий и деградации. В странных и ужасных декорациях, растянувшихся на сотни километров безлюдной территории, не было надежды на спасение. Горе и нищета, трусость и страх, холод, трупы и экскременты — спутники белой эмиграции. Лишь у бесчисленных ворон, облпивших голые деревья вдоль магистрали и распушивших на морозе перья, была причина с удовлетворением следить за ползущими мимо вагонами.

Семь поездов верховного правителя, каждый из которых имел два локомотива, двигались медленно. Хотя зарезервированная для приоритетного транспорта железнодорожная колея была не так сильно забита поездами, ее часто использовали санные повозки с тракта. Поэтому на покрытых утрамбованным снегом рельсах колеса проскальзывали и поезда теряли скорость.

Колчак все еще выполнял обязанности правителя. 21 ноября он учредил — на бумаге — Верховное совещание. Как, по его мнению, оно отличалось бы или работало лучше, чем его собственное уже дискредитированное, но еще существующее правительство, гадать бессмысленно. 25 ноября он узнал подробности враждебного ему чешского меморандума, изданного в Иркутске двумя неделями ранее³⁶, и послал шифрованные инструкции своим министрам разорвать с чехами всяческие отношения и заставить союзников организовать их срочную эвакуацию. Поскольку срочная эвакуация и без того стала главной целью легиона, но союзники были не в силах ее ускорить, зато чехи могли перехватить и расшифровать унижительную телеграмму Колчака, ее отправка видится абсолютно бесполезной.

Генерал Жанен, чей личный поезд шел впереди последнего эшелона 6-го чешского полка, покинул Омск 8 ноября. Перед отъездом состоялась его

³⁶ Обращение к союзным державам содействовать «безопасности и свободному возвращению на родину» воинов Чехословацкого легиона, так как «пребывание нашего войска на магистрали и охрана ее становятся невозможными просто по причине бесцельности»: «Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избивание мирных русских семей, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление...»

прощальная беседа с Колчаком. Как телеграфировал Жанен в Париж, Колчак пребывал «в странном невротическом возбуждении. Вероятно, утверждения о том, что он кокаинист, верны». Жанен прибыл в Новониколаевск 13 ноября и в течение пяти дней старался ускорить продвижение на восток чехов и польской дивизии численностью около 12 тысяч человек, которая должна была замыкать исход легиона. Поляки идеализировали ситуацию. Они достали и предполагали взять с собой 4 тысячи лошадей и надеялись договориться с большевиками, чтобы те пропустили их домой прямой дорогой через Россию. Жанен был о поляках весьма низкого мнения.

18 ноября новости о том, что Гайда накануне попытался совершить во Владивостоке государственный переворот, повергли Центральную Сибирь в еще большее уныние и смятение. Сия неумелая попытка завершилась орудной перестрелкой близ доков между бронепоездом Гайды под развевающимся зелено-белым колчаковским флагом и несколькими русскими торпедными катерами в гавани, которым с суши помогали Калмыков со своим бронепоездом и его японские покровители. После довольно длительной беспорядочной стрельбы под проливным дождем легко раненный в ногу Гайда сдался. Он дал обещание оставить Россию навсегда и был допущен на корабль, но перед этим, как говорят, его сильно избили русские офицеры. Розанов, военный губернатор Владивостока, успевший ранее в том же году прославиться своей жестокостью в Красноярске, привычно грозился отомстить.

В тот же день (18-го) Жанен уже собирался покинуть Новониколаевск, когда получил телеграмму из поезда верховного правителя с просьбой подождать его, Колчака, прибытия. Начальник штаба Жанена ответил, что это невозможно, мол, они вот-вот отправятся в Иркутск. «Он был совершенно прав, — писал позже главный военный представитель союзников Колчака. — После катастрофы, ответственность за которую несли адмирал и его окружение, я счел бы встречу тягостной». Ясно, а далее станет еще яснее, что Жанен перестал тревожиться о судьбе Колчака.

Сибирь ополчилась на белых. Партизаны, уже серьезно угрожавшие железнодорожной магистрали и защищавшим ее войскам, проявляли не столько пробольшевицкие, сколько антиколчаковские настроения. У соратников адмирала осталось мало иллюзий относительно его способности спасти положение. В подобных обстоятельствах удивительно, что никто не предпринял серьезных попыток сместить верховного правителя или хотя бы покинуть его. Даже в час унижительного поражения он растерял не все свое обаяние, сохранил властность и все еще оставался объектом редких в такой ситуации надежд и верности. На станции Тайга, куда кортеж прибыл 7 декабря, Колчака встретили его премьер-министр Виктор Пепеляев, приехавший из Иркутска, и его брат Анатолий, командовавший остатками Сибирской армии. К ним присоединился претендующий на звание защитника Омска Са-

харов. Ночь прошла во взаимных обвинениях. Колчак хотел подать в отставку, но его отговорили. Под утро поезда вновь двинулись в путь, а Пепеляев арестовал Сахарова за плохое влияние на верховного правителя. Сахарова освободили на следующий день, когда в Тайгу вошел Каппель. Самое же главное значение этого тайного совещания, незаметного, но претенциозного, состоит в том, что после его окончания Колчак по всем правилам политики Белого движения должен был быть смещен с поста, но все еще оставался во главе своего умирающего режима.

13 декабря в Мариинске ее величество судьба — хотя никто тогда этого не осознал — начала надолго растянутый процесс вынесения приговора Колчаку. Скромным орудием в ее руках был младший офицерский чин управления военных сообщений Чехословацкого легиона Штейнцель. Подчиняясь приказам из Иркутска, этот офицер настоял на переводе эшелонов верховного правителя с приоритетной на перегруженную железнодорожную колею и заявил ответственному за кортеж русскому инженеру, что если эшелоны вернутся на приоритетную колею, то дорогу им преградит бронепоезд. Более того, чешский штаб в Мариинске, сперва наотрез отказавшись снабдить поезда углем, в конце концов выделил количество, совершенно недостаточное для нужд кортежа.

Генерал Занкевич, генерал-квартирмейстер Колчака, послал телеграмму с протестом Жанену, который, как и главнокомандующий чехов Сыровой, находился в то время в Иркутске. Занкевич жаловался, что к ним не прикреплен чешский офицер связи, а назначить такого может только главнокомандующий. Как правило, доносил Занкевич, от чехов нет никакой помощи, наоборот, он сталкивается с открытой враждебностью. В результате за последние четыре дня преодолено всего лишь 140 километров.

Верховный правитель и его спутники в бессильной ярости наблюдали, как их семь составов переводят на общую линию. Говорят, правда, что до станции Боготол двигались относительно хорошо, и все предположили, что к тому времени, как они доберутся до Боготола, бюрократическому произволу, жертвами коего они стали, будет положен конец.

Глава 16

О захвате чехами Транссибирской железной дороги летом 1918 года Черчилль позже писал, что «история вряд ли помнит похожий эпизод, одновременно такой романтический по сути и такой растянутый в пространстве». К зиме следующего года романтика перестала быть главной характеристикой деятельности легиона.

Чехи, по собственному настоянию выведенные с фронта, взяли на себя гарнизонную службу вдоль Транссибирской магистрали от Омска до Иркутска и выполняли свои обязательства очень квалифицированно. Они имели хорошую разведку, а когда привлекались к карательным действиям против партизан, так же не склонны были брать пленных, как и белогвардейские отряды, с которыми взаимодействовали, — мстили за жестокое обращение с собственными ранеными.

Однако по большей части чехи не перетруждались и после подвигов предыдущего года полагали, что заслуживают отдых. Они прекрасно пользовались своим досугом. Рядом с ними вдоль всей железной дороги русские обогащались, но обогащались беспорядочно, рубя сук, на котором сидели. Чехи вели себя умнее. «По всей Сибири и на Дальнем Востоке многие русские сочетали государственную службу с личным обогащением, и было бы несправедливо ожидать от чехов чего-либо другого. Но они были более ловкими коммерсантами, чем русские, и возможностей у них было побольше» [*Футман Д.* Гражданская война в России. Лондон, 1961].

Более ловкие, хитрые, сдержанные и технически более подготовленные, чем местные, чехи имели дополнительное преимущество: четко знали, что и как собирались делать. «Чехи, — писал впоследствии Нокс, — хотели выбраться и не остановились бы ни перед чем, дабы обеспечить необходимый результат». И они не видели смысла в том, чтобы оставить Сибирь с пустыми руками. У них были вместительные вагоны и исправные локомотивы, о которых они хорошо заботились. Вагоны часто разрисовывались веселыми сценками, напоминающими жизнь в Богемии. Их поезда были настоящими мобильными казармами с приличными, хорошо организованными жилыми помещениями для солдат, многие из которых жили с женами или любовницами. Кроме предприятий бытового обслуживания — пекарен, прачечных, столовых, кузнечных мастерских, — легион управлял банком, почтовой службой вплоть до Владивостока, несколькими типографиями и ежедневной газетой.

Денежное довольствие переводилось из Парижа в Токио во франках и там менялось на рубли. Когда рубль начал быстро обесцениваться, легионеров поощряли оставлять большую часть денег в банке, который использо-

вал значительные накапливающиеся средства для торговли от имени легиона. Вместо бесполезных рублей, как указал полуофициальный аналитик, «было намного выгоднее иметь медь, резину, хлопок и бакалейные товары, которые дали бы огромную прибыль при продаже в Чехословакии. Так что поезда были набиты сырьем и всевозможными товарами. Часть этого бесценного груза, несомненно, была оплачена, но большую его часть, которую хозяева называли военным трофеем, русские считали награбленным.

Атмосфера вокруг чехов неизбежно сгущалась. Их длинные, хорошо снабжаемые, не зараженные тифом поезда несли весьма малую часть того человеческого груза, коим были переполнены русские эшелоны. Хотя лишь немногие их критики находились ближе чем в 160 километрах от фронта, чехов бранили (за глаза) дезертирами, бежавшими с передовой и создавшими себе привилегированную, богатую жизнь в тылу. Более того, их подозревали в симпатиях к большевикам, и эти подозрения подкреплялись тем, что в одних местах они заключали пакты о ненападении с партизанами, а в других снабжали оружием железнодорожных рабочих, охранявших мосты.

Чехи с полным безразличием относились к негодованию окружающих. Они успешно контролировали железнодорожные станции, заводы, угольные склады, телефонные и телеграфные линии, обслуживавшие магистраль вплоть до Иркутска. И свою власть они использовали с максимальной выгодой для достижения единственной цели: как можно скорее перевезти всех своих людей и всю их собственность во Владивосток. Разумная цель и другой быть не могло, а если бы потребовалось оправдать ее юридически, им всего-то следовало напомнить о регулярных приказах их политических лидеров избегать вмешательства во внутренние российские конфликты.

К несчастью, единственный для них надежный способ добиться реальной цели (быстро добраться до побережья) или официальной цели (избегать вмешательства в военные действия) — это удерживать свои поезда впереди всех остальных поездов. У чехов были возможности *defacto*, если не *dejure*, делать это, и они это делали. В результате весь российский подвижной состав подолгу простаивал, а для последних эшелонов эти простои становились губельными. Один британский офицер телеграфировал во Владивосток из какого-то пункта близ Боготола: «Положение сейчас таково, что все русские эшелоны восточнее фронта стоят и захватываются красными по десять — двадцать эшелонов в день». Во многих из тех поездов ехали женщины, дети, раненые и больные. Вероятно, выживших могло оказаться больше, чем представляется возможным для условий того времени, но даже если все слухи о кровавых боях не соответствуют действительности, многие должны были погибнуть после выселения из вагонов.

Решение заставить Колчака занять место в этой очереди (ибо будущие события докажут, что инцидент в Мариинске не был вызван излишним слу-

жебным рвением незначительного младшего офицера) стало рассчитанным политическим действием чешского руководства с молчаливого попустительского Жанена. 13 декабря (в тот же день, когда поезда Колчака перевели на общую линию) Сыровой, находившийся восточнее и избежавший встречи с верховным правителем, телеграфировал Жанену, что «для обеспечения личной безопасности адмирала, ввиду негативного отношения к нему (чешских) войск, было бы лучше, чтобы он занял место в основном потоке транспорта». На следующий день Сыровой, вернувшись в Иркутск, лично докладывал Жанену. Он говорил о «невероятном беспорядке» — замерзших локомотивах, толстом слое льда на рельсах, забастовках и дезертирстве железнодорожного персонала, низком моральном духе войск в замыкающих чешских эшелонах. Колчак, как говорили, «почти помешался от гнева»; его штабные офицеры пьянствовали. К Колчаку так плохо относились, что было бы неблагоразумно пропускать его поезда в первую очередь, еще больше разжигая всеобщую ненависть. Следующее замечание Жанена обнаруживает удовлетворение, с которым он воспринял эти новости: «Я приказал Сыровому составить отчет о ситуации и распространить его».

Хотя соучастие Жанена очевидно, неясно, однако, на ком лежит ответственность за окончательное решение перевести на общую линию кортеж Колчака через месяц после отъезда из Омска. Сыровой, чешский главнокомандующий, был мрачным флегматичным человеком. Вряд ли он проявил инициативу в таком необычном деле. Скорее всего, решение приняли в Иркутске чешские политические лидеры, крайне враждебно относившиеся к Колчаку с самого *государственного переворота*. Возможно, сказалось влияние их многочисленных друзей из местных социал-революционеров — им было несложно добиться сотрудничества Сырового. Остается только догадываться о цели этого маневра, однако чем дольше задерживали Колчака в пути, тем короче была жизнь его прогнившего режима в Иркутске, а его враги, русские и чехи, укоротить ее старались изо всех сил.

Правда, что поездов было семь (на пять больше, как не уставал повторять Жанен впоследствии, чем использовал для поездов царь, на шесть больше, чем требовалось великому князю Николаю), и правда, что чехам было бы трудно воткнуть семь лишних поездов в свое собственное расписание, однако больше нечего сказать в оправдание их решения лишить кортеж верховного правителя приоритета. Невозможно всерьез утверждать, что кортеж Колчака угрожал эвакуации чехов, срывал ее или существенно ее задерживал, не говоря уж об этикете, вежливости и просто человечности. Было бы естественно не препятствовать его движению.

Все надежды свиты Колчака на то, что зловещий инцидент в Мариинске явился досадным недоразумением, скоро рассеялись. Их поезда, попавшие в бесконечную транспортную пробку общей колеи, проходили всего

лишь несколько километров в день. На станциях паровозы расцепляли, прицепляли к другим поездам и заменяли после длительных задержек. Младшие штабные чешские офицеры в точности выполняли полученные приказы, опираясь на поддержку стоявших наготове бронепоездов. Чешский офицер связя так и не был предоставлен адмиралу. Зато арестовали одного из офицеров Колчака. В Красноярске, куда кортеж прибыл 17 декабря, всю охрану отстранили почти на неделю. Жанен непрерывно получал телеграммы с протестами и призывами о помощи из поезда верховного правителя. И полностью их игнорировал.

Примерно в то время — точная дата неизвестна — Колчак совершил серьезную ошибку. В шифрованной телеграмме Семенову, дублированной Хорвату в Харбин, он приказал любой ценой остановить вывод чехов, при необходимости взрывая мосты и тоннели. Эта телеграмма попала в руки чехов, и они ее расшифровали.

По сути, это было объявлением войны. Разрушение сорока тоннелей к югу от озера Байкал или даже нескольких из них на неопределенный срок заблокировало бы Транссибирскую магистраль. Семенова, контролировавшего этот жизненно важный отрезок магистрали, чехи ненавидели еще больше, чем Колчака. Мало того что адмирал пытался помешать их побегу из Сибири, попытка сделать своим орудием Семенова удваивала в их глазах гнусность этого проекта. Чехи спровоцировали Колчака, и он дал им предлог для мести, хотя в данном случае месть опередила предлог. По сути, то, что они делали, не отличалось от того, что Колчак приказал Семенову сделать с ними. Отныне верховному правителю не приходилось ждать от чехов пощады.

Строго говоря, не столько отправка телеграммы, сколько раскрытие ее содержания так серьезно повлияло на судьбу Колчака. И все же стоит рассматривать приказ Колчака Семенову не столько как улику, использованную против него чехами, но как свидетельство его собственного душевного состояния. Если бы его приказ был выполнен — если бы тоннели были разрушены, — он с лихвой расплатился бы с чехами за нанесенные оскорбления и причиненные неприятности. Но в порыве этого мщения он совершил бы и самоубийство: перерезав железнодорожную связь с Владивостоком, он погасил бы последнюю надежду на восстановление фронта, который мог бы сдержать большевиков, и вынес бы своему правительству, своим армиям и самому себе смертный приговор. Принимая во внимание страшное перенапряжение, в котором находились верховный правитель и его спутники из-за непрерывных унижений, телеграмма Колчака Семенову наводит на мысль, что он, как бык на арене, думал только о том, как нанести ответный удар своим мучителям.

Монополия чехов на приоритетную железнодорожную линию, их высокомерное отношение к верховному правителю вызывали яростное негодова-

ние по всей Транссибирской магистрали. Даже критики Колчака считали наносимые ему оскорбления оскорблением всего русского народа. Яростно отреагировал генерал Каппель, заменивший на посту главнокомандующего дискредитированного Сахарова и с некоторым успехом прикрывавший отступление. 16 декабря он заявил в телеграмме Сыровому, что оскорбления и унижения, которым подвергается верховный правитель, задевают всю русскую армию, что приказ задерживать все русские эшелоны уже привел к потере 120 поездов с ранеными, больными, женами и детьми сражающихся на фронте офицеров и солдат. Каппель призвал Сырового отменить приказ и извиниться перед верховным правителем. А если это не будет сделано, то он, главнокомандующий русской армией, чей долг защищать ее честь, потребует от Сырового сатисфакции на дуэли. Копии его телеграммы, возвышенной и трогательной, были разосланы большинству основных русских и союзных органов власти в Сибири. Жанен предложил Сыровому отнестись к телеграмме как к плоду расстроенного ума и не отвечать на вызов, поскольку дуэль неприемлема для главнокомандующих современными армиями.

Едва утихла буря, вызванная фантастическим жестом Каппеля, как 20 декабря Сыровому прислал телеграмму Семенов. Цветисто выразив свое восхищение «чехословацкими братьями», Семенов привлек их внимание к беспорядку, который они создают на железной дороге, и к их недопустимому поведению по отношению к верховному правителю. И к тому, что враги рода людского в задержанных чехами поездах безжалостно убивают больных и раненых солдат, женщин и детей. Мол, исполненный братской любви и заботы о них, он настоятельно требует открыть путь до Иркутска верховному правителю, гражданскому населению и — здесь он проявил подлинную заинтересованность — ценностям, являющимся последним достоянием русского правительства. Если же чехи проигнорируют эти требования, Семенов обещал скрепя сердце, но всеми имеющимися в его распоряжении средствами выполнить свой долг перед человечеством и их (чехов) замученной сестрой, Россией!

К этой угрозе, в отличие от угрозы Каппеля, пришлось отнестись серьезно. Исследование текста позволяет с большой уверенностью предположить, что ответ Сырового был написан Жаненом. Отправленный 22 декабря, он открывается льстивой преамбулой, продолжающей обмен любезностями, начатый агаманом. Далее с должным уважением агамана уверяют, что он не вполне владеет ситуацией. Все неприятности на железной дороге происходят из-за нехватки угля. Меры, принимаемые чехами, уже способствуют устранению заторов. Что касается верховного правителя, то проезд семи поездов, каждый с двумя паровозами, по оставшемуся без угля участку магистрали — дело сложное. Он (здесь пошла намеренная фальсификация) может продолжать путешествие от Красноярска в своем личном поезде, если

не настаивает на ожидании шести других. Принимаются меры — опять ложь! — освободить из заторов поезд премьер-министра Пепеляева и состава с золотом.

Заключительная часть, изящно сочетавшая фальшивую сердечность с пустой угрозой, — маленький шедевр бесчестной дипломатии. Военная миссия чехословаков в Сибири, телеграфировал Жанен от имени Сырового, была тягостна. Они глубоко сожалели бы, если бы были вынуждены с оружием в руках пробиваться через контролируемую Семеновым территорию, когда их единственное желание — мирно вернуться на родину. Они при этом не ждут ни слова благодарности за свою службу и за пролитую ими кровь.

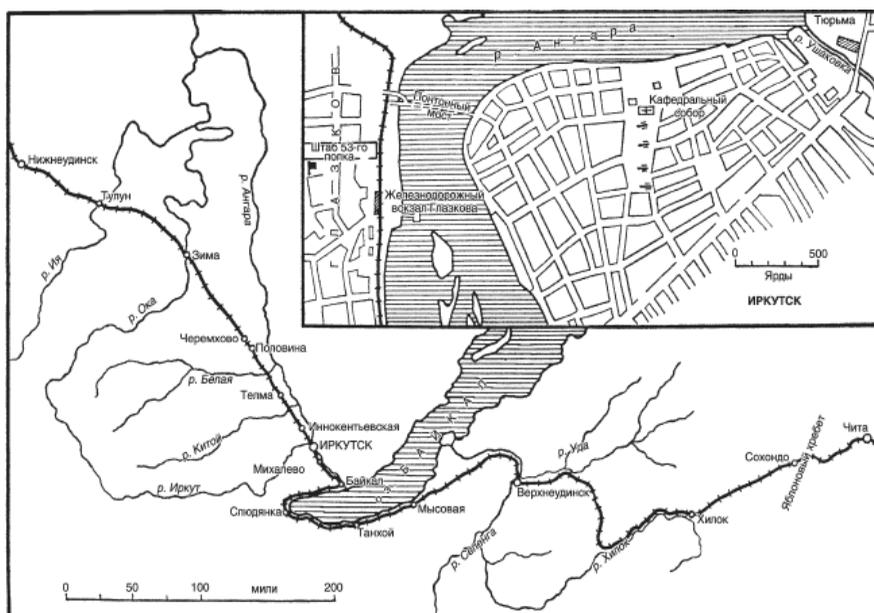
Колчак тем временем все еще торчал в Красноярске, о чем говорилось в одной из длинной серии телеграмм, посланной его штабом Жанену в канун Рождества. Как дополнительный аргумент в пользу ускорения их отправления, упоминалось, что невозможно обеспечить необходимую охрану золотого запаса. На следующий день — возможно, по случайному совпадению — верховный правитель продолжил свой путь на восток. 27 декабря его поезда прибыли в Нижнеудинск, где в окружении бронепоездов и под прицелом чешских пулеметов они простояли почти две недели. Местный чешский командир, майор Хассек, говорил лишь, что получил приказ изолировать станцию от города, находящегося в руках мятежников, и соблюдать строгий нейтралитет. Попытки связаться по телефону с Жаненом, находившимся в Иркутске, менее чем в 480 километрах, оказались тщетными. Генерал, заявили Колчаку, недоступен.

Глава 17

В 70 километрах к юго-востоку от Иркутска из озера Байкал вытекает река Ангара — единственная река, вытекающая из одного из самых больших и, вероятно, глубочайших озер мира. По сибирским меркам, Иркутск — древний город: укрепленное поселение на правом берегу Ангары, из которого он вырос, датируется 1652 годом. Как иллюстрирует карта, вокзал на окраине Глазкова, где высаживаются пассажиры, следующие в Иркутск, находится на противоположном берегу реки. После Глазкова железная дорога по левому берегу Ангары устремляется к тоннелям Байкала.

Тогда вокзал и город летом соединялись понтонным мостом. До того как зимой река окончательно замерзала и необходимость в мосте отпадала, мощный поток мчал из озера огромные глыбы льда и плавучие льдины и разрывал цепь понтонов: неделю или две попасть с вокзала в город можно было лишь на лодке. В 1919 году мост не выдержал натиска льда 22 декабря.

В тот день Иркутск номинально все еще подчинялся правительству Колчака. Однако премьер-министр Пепеляев был задержан чехами и до города не доехал. Министр иностранных дел, отправившись по государственным делам к Семенову, находился уже на пути в Париж, а оставшиеся министры представляли собой кучку слабонервных ничтожеств. Гарнизон, как и его командир, генерал Сычев, доверия не заслуживал. Правительство, которое Антанта чуть было не признала *defacto* правительством всей России, сократилось до нескольких возбужденных мужчин, болтавших об ерунде в номерах провинциальной гостиницы.



Карта №4. Иркутск и окрестности

Их местная оппозиция, коалиция социал-революционеров и меньшевиков, известная как Политический центр, приступила к активным действиям ночью 23 декабря. В Иркутске после вялых боев мятежники сохранили контроль над северными окраинами, но войска Сычева, включавшие и воспитанников кадетской школы, все еще удерживали центр города. На следующий день щеголявший британским обмундированием 53-й Сибирский полк, размещавшийся прямо за железнодорожной станцией в Глазкове, перешел на сторону Политического центра. А еще через день Сычев объявил о своем намерении обстрелять из пушек вокзал, и ситуация вышла из рамок стычки местного значения.

На станции, прямо у реки, ширина которой в этом месте доходила до 800 метров, стояли поезда британского, французского и японского верховных комиссаров; американского генерального консула, прибывшего из Омска и на практике принимавшего решения уровня верховного комиссара; генерала Жанена и французской военной миссии и чешского главнокомандующего генерала Сырвого, чьи воинские эшелоны забили все запасные железнодорожные пути. Остатки артиллерии верховного правителя собирались расстрелять территорию, где сосредоточились остатки его союзников.

Жанен взялся урегулировать затруднительную ситуацию. Он объявил станцию и ее окрестности нейтральной зоной и после бесконечного курсирования между берегами Ангары ему удалось добиться согласия обеих сторон. Решение Жанена было выгодно мятежникам, ибо позволяло им завершить приготовления к атаке по ангарскому льду из Глазкова — река замерзала быстро, — не опасаясь вражеской артиллерии (хотя в действительности орудий и орудийных расчетов было слишком мало, чтобы они могли серьезно повлиять на ситуацию). Все выглядело так, будто последние остатки власти верховного правителя могли испариться в любой момент.

Однако 27 декабря пришли поразительные новости: брошенный Семеновым на освобождение Иркутска и усиленный тремя бронепоездами крупный отряд под командованием страшного человека по фамилии Скипетров, достиг станции Михалево, находившейся в 32 километрах по железной дороге от Глазкова. Подобное развитие событий не устраивало как Политический центр, чьи шансы на власть в Иркутске неожиданно уменьшились, так и нейтралов на железнодорожной станции, которая в любой момент могла стать местом военных действий, более серьезных, чем те, что едва удалось предотвратить.

23 декабря в последней телеграмме, которую Колчаку удалось послать перед тем, как чеки задержали его поезда в Нижнеудинске и лишили его всякой связи с внешним миром, кроме из милости дозволяемой ими же, он назначил Семенова Верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами в Сибири и на Дальнем Востоке. Именно по этому мандату (и, вполне вероятно, с надеждой завладеть золотым запасом) Семенов снарядил вооруженную экспедицию в Иркутск. За семеновцами осторожно следовал полубатальон японской пехоты. Жанен и верховные комиссары посылали на все железнодорожные станции срочные телеграммы в надежде остановить отряд, однако полковник Скипетров приближался, и в войсках мятежников в Глазкове назревала паника.

Положение спасли несколько железнодорожников, раскопегаривших паровоз и на полной скорости пустивших его по колее. Столкнувшись с ведущим бронепоездом, паровоз пустил его под откос. На окраине Глазкова начался бой. Из 168 взятых в плен семеновцев 64 оказались китайцами и монго-

лами. Затем новоприбывшие отступили по замерзшей реке в Иркутск, где связались с генералом Сычевым, а через два дня вернулись туда, откуда явились.

Если в первый день нового, 1920 года можно было сказать, что дело Колчака еще живо, то провал вылазки Скипетрова его точно погубил. Для самого Колчака, практически содержащегося в Нижнеудинске в заключении без связи с внешним миром, уже не имело значения, в какой день недели исчезнет последний след его власти. Тем не менее один побочный результат вмешательства Семенова неблагоприятно повлиял на его судьбу. 2 января начальник штаба Сычева подписал и передал Скипетрову приказ об «отправке на восток» тридцати заключенных-мужчин и одной заключенной-женщины из камер иркутской тюрьмы для «политических». Скипетров забрал этих людей с собой, предварительно крепко связав их попарно — они должны были служить заложниками на тот случай, если у него начнутся неприятности.

В Иркутске воцарилось хрупкое перемирие, но разрушение местной электростанции и острая нехватка топлива крайне осложняли жизнь в городе. На станции Глазков верховные комиссары работали — как посредники, а не как арбитры — над окончательной ликвидацией режима, при котором они были аккредитованы. Представители правительства Колчака категорически отказывались от прямых контактов с делегатами Политического центра, и переговоры (если их можно было так назвать) с первыми вяло тянулись в поезде Жанена, а с последними, более рассудительными и воспитанными, в поезде британского верховного комиссара. Курьеры переносили жалкие плоды дискуссий из одного поезда в другой.

Этот фарс длился два дня. Вечером 4 января в Иркутске слышалась стрельба, и стало известно, что после неудачной попытки реквизировать ценности Государственного банка бежал генерал Сычев. На следующий день Политический центр стал безраздельным хозяином города. Поток прокламаций обещал свободу, справедливость, мир с большевиками, дружбу с Антантой и созыв Сибирского совета, который будет готовить почву для Государственной думы. Политическую эйфорию омрачала лишь растущая тревога о тридцати одном заложнике, увезенном Скипетровым в неизвестном направлении.

Тем временем 6-й чешский полк все еще держал Колчака, его поезда и золотой запас в превентивном заключении на станции Нижнеудинска. Будущее верховного правителя почти непрерывно обсуждалось как верховными комиссарами в Глазкове, так и делегатами конкурирующих фракций в Иркутске. Сначала Политический центр, хотя официально и заклеил Колчака врагом народа, готов был предоставить ему безопасный проезд на восток, однако адмирал все еще находился в 480 километрах от сферы влияния благодетелей, а ближайшая к месту нахождения кортежа территория

контролировалась элементами, настроенными крайне враждебно к бывшему правителю.

1 января после долгой и тревожной дискуссии верховные комиссары выработали меры, отвечавшие, как они надеялись, сложившейся ситуации, в которой они не имели никакой исполнительной власти и почти никакого влияния. Приведем их директиву, адресованную Жанену, как главнокомандующему союзными войсками в Сибири:

«Верховные комиссары союзных держав заявляют, что необходимо принять все возможные меры к обеспечению личной безопасности адмирала Колчака.

Если адмирал Колчак сочтет необходимым обратиться за защитой к союзным войскам, то неоспоримый долг этих войск — предоставить ему защиту и принять необходимые меры к обеспечению его переезда в любое место, определенное союзными правительствами, не забывая о необходимости (если таковая возникнет) переговоров со всеми заинтересованными сторонами.

Если адмирал Колчак решит, что обстоятельства позволяют ему не искать защиты у союзных войск, может возникнуть ситуация, в которой союзным войскам будет трудно решить, как действовать. Тогда этот вопрос перейдет в сферу внутренней российской политики, в которую союзные войска, как предполагается, не могут вмешиваться. Однако даже в этом случае их долг любым способом обеспечить личную безопасность адмирала Колчака, прибегнув к согласительным процедурам».

Этот окончательный вариант директивы Жанен принял без возражений (предыдущий несохранившийся набросок был переработан согласно его требованиям).

Отныне именно позиции Жанена предстояло играть главную роль в судьбе Колчака. Поведение французского генерала выглядит, мягко говоря, двусмысленным. 26 декабря он телеграфировал в Париж: «Никто не знает, где находится Колчак, и спасти его жизнь будет сложно». Второе из этих утверждений, вероятно, даже на том этапе, соответствовало ситуации; первое было неискренним, даже совершенно лживым. Если Жанен точно не знал, где находился Колчак, когда посылал эту телеграмму (остается небольшая вероятность, что не знал), он легко мог узнать местонахождение поездов верховного правителя в штабе Сырового. Если Жанен хотел намекнуть французскому правительству и чешским представителям в Париже, которым он послал копию этой телеграммы, что Колчака можно списать со счетов, то приведенное выше послание прекрасно послужило его цели.

Из отказа Жанена и подчинявшегося его приказам Сырового общаться по прямой линии с Колчаком и его штабом, несмотря на неоднократные призывы из Нижнеудинска, создается впечатление, что они уже мысленно подписали адмиралу смертный приговор. Один из его офицеров записал в днев-

нике, что, когда чехи соглашались позвать кого-нибудь к телефону, связь тут же прерывалась или нужный человек не подходил к аппарату.

1 января — в тот день, когда Жанен принял на себя ответственность по обеспечению личной безопасности Колчака, «насколько это возможно сделать», — он ответил на несколько невразумительный документ, составленный командиром 6-го чешского полка в Нижнеудинске. Этот документ с комментариями был передан штабом 1-й чешской дивизии Сыровому, а тот, предположительно, просил Жанена разобраться.

6-й полк докладывал, что мятежники в Нижнеудинске потребовали от Колчака (среди прочего) подать в отставку, передать им золотой запас и поезд адмирала, а также распустить свою свиту и охрану. Местное население взволновано, и если эти требования не будут выполнены, возможен саботаж на железной дороге, и поезда — не только адмирала — не двинутся дальше. 6-й полк спрашивал, что же делать дальше.

Жанен ответил подробно. Он не передал войскам, которых это более всего касалось, связывающий их по рукам приказ, как сделали бы многие в его положении. Он приказал им наблюдать и строго соблюдать нейтралитет. «Мы можем вмешаться только в том случае, если адмирал решит искать у нас защиты и откажется от военных действий» — на этот случай «у нас есть международный мандат и мы должны будем защитить его». Адмирала перевезут в поезде под флагами США, Великобритании, Франции, Японии и Чехословакии. Затем следовали инструкции тщательно охранять золотой запас до его возможного использования в интересах всего русского народа.

Телеграмма могла вызвать в 6-м полку некоторые сомнения относительно того, как же союзный главнокомандующий на самом деле хотел поступить с Колчаком, а вот обязанности по охране золотого запаса были определены предельно ясно. Местные революционные власти просветили относительно дальнейшей судьбы золотого запаса, и двух ее представителей пригласили проинспектировать сокровище до того, как чехи официально примут на себя его охрану. Эти простые парни явились, предполагая, что золото будет взвешено в их присутствии. Когда им объяснили, что процесс занял бы более двух месяцев и в любом случае соответствующие веса достать невозможно, они проникательно уставились на несколько слитков, взятых из одного из двадцати девяти вагонов, и задумчиво отправились восвояси через промерзший, темный, молчаливый городок.

Семь недель Колчак и его свита жили в переполненных и совершенно неподвижных поездах. В их душах господствовало отчаяние. Им нечего было делать, нечего обсуждать, кроме рушившихся надежд на освобождение из капкана, в котором они оказались. Люди находились в таком стрессе, что нервы не выдерживали, верность таяла, учащались приступы ярости.

Нижнеудинские пленники строили фантастические планы покинуть железную дорогу и уйти в Монголию, погрузив часть золота в сани. Чехи полагали, что, как только они избавятся от Колчака, их движение на восток ускорится, а потому поощряли этот план, предлагая карты и поясняя расположение партизан. Однако ничего из этого не вышло. Отчасти потому, что путешествие Колчака в Иркутск под защиту союзников казалось безопасным, а 400-километровый путь в Монголию чреват опасностями.

5 января в Нижнеудинск поступил приказ препроводить Колчака в Иркутск под конвоем союзников при условии, что он покинет свои поезда и отправится в единственном вагоне, взяв с собой столько людей, сколько туда поместится. Реакция Колчака характерна. По поручению верховного правителя его генерал-квартирмейстер телеграфировал верховным комиссарам, что, по причинам морального свойства, адмирал не может оставить своих подчиненных на милость взбешенной толпы и намерен разделить их судьбу, как бы ужасна она ни была. Далее он требовал создать благоприятные условия всем, кто пожелает сопровождать верховного правителя.

Однако в предыдущие несколько дней всем — кроме, пожалуй, Колчака, редко покидавшего купе, которое он делил с Тимиревой, — стало ясно, что его страдавшаяся свита редет. Новости о том, что союзники поставили на них крест, ускорили этот процесс. Солдаты сначала робко, а затем открыто собирали пожитки и оружие и, сорвав погоны³⁷, группами уходили в город. Оркестр отправился прочь под звуки Марсельезы. Колчак официально освободил офицеров от присяги и приказал действовать так, как диктуют им их интересы и их совесть. 6 января генерал-квартирмейстер сумел отправить верховным комиссарам вторую телеграмму, в которой докладывал, что благодаря местным событиям адмирал и его личная свита теперь могут путешествовать в одном вагоне, и настаивал ускорить отъезд ввиду неопределенности ситуации.

В тот же день (6 января) Колчак послал Жанену зашифрованную телеграмму и ее незашифрованную копию своему уже не существующему правительству в Иркутске. Он объявлял о своем отречении от верховной власти на всей российской территории (по иронии судьбы это писал человек, заключенный в железнодорожном купе второго класса и охраняемый иностранными солдатами) в пользу генерала Деникина, командующего армиями Юга; Колчак добавлял, что подпишет официальное отречение по прибытии в Верхнеудинск в Забайкалье.

Этот шаг казался практичным и мог быть продуман человеком менее импульсивным, чем Колчак. Верхнеудинск находился в зоне охраны японского и американского гарнизонов. Хотя *defacto* Колчак был бессилён, *dejure*

³⁷ Предположительно красно-белые погоны, выдававшие принадлежность к личным войскам верховного правителя.

он все еще оставался верховным правителем, и существовал шанс, что союзники, с чьим пристрастием к дипломатическому протоколу Колчак был хорошо знаком, придавали важное значение узакониванию его отречения и преемственности Деникина. А раз так, то им понадобится его подпись. Объявив, что отречение произойдет в Верхнеудинске, Колчак увеличивал свои шансы на то, что его препроводят в регион, где враждебно настроенные чехи уже не будут единственными влиятельными представителями союзных войск. Уступка для получения преимущества в дальнейшем была его последней картой: не козырем, не тузом, но он мог выиграть, и, во всяком случае, он ничего не терял, разыгрывая ее.

На станции Глазков необычная маленькая колония иностранцев медленно рассеивалась. Поезда генерального консула Гарриса и Майлза Лэмпсона, британского верховного комиссара, получили долгожданные паровозы и, подбросив монетку, чтобы решить, кому ехать первым, отправились в путь 4 и 5 января. Люди, вооруженные топорами, освобождали поезд, которые, как всегда после продолжительной стоянки, были прикованы к рельсам огромными сталактитами тусклого льда в районе кухонь и уборных. Полубатальон японской пехоты, прибывший вслед за Скипетровым, таинственно и уютно устроился на запасном пути — просочились слухи, что он прибыл наблюдать за эвакуацией своих соотечественников.

Жанен, уезжавший последним из старших союзных представителей, вроде бы отправился в путь 8 января после того, как глава японской военной миссии наградил его орденом. Хотя половина подчиненных ему войск еще тянулась по железной дороге западнее Иркутска, было бы несправедливо считать его отъезд преждевременным. Как писал Жанен впоследствии, он страдал от перенапряжения и бессонницы, а даже для здорового человека искушение покинуть грязное, тесное окружение, в котором он провел ужасные две недели, было бы непреодолимым.

Возможно, он также чувствовал, что мог сделать для чехов больше, уладив разногласия на контролируемой Семеновым территории, чем за спиной генерала Сырового в Глазкове, и уж разумеется, он совсем не хотел болтаться в Иркутске, когда туда прибудет Колчак.

Именно 8 января верховный правитель в крайне стесненных условиях снова отправился на восток. Перед тем как эшелоны покинули Нижнеудинск, в вагон Колчака вошли два чешских офицера и сказали, что должны удостовериться в присутствии Колчака. «Адмирал вышел в коридор и резко сказал: «Да, я здесь». Было видно, что адмиралу тяжело произносить эти слова и что проверка его оскорбила», — отмечал Малиновский.

Вскоре поезд 1-го батальона, к которому был прицеплен вагон Колчака, отошел от станции. Впереди них, совсем недалеко, уже с грохотом мчался к Иркутску сквозь ночь золотой запас под охраной 3-го батальона.

Глава 18

Иногда, если люди тайно совершают чудовищное преступление, первые подозрения, пусть слабые и косвенные, мгновенно опознаются как сигналы опасности, как свидетельства того, что сделано нечто ужасное. Так и произошло в случае с заложниками Скипетрова.

3 января — через день после того, как заложников передали Скипетрову, — дышащее на ладан в Иркутске правительство Колчака предоставило верховным комиссарам два коротких заявления, касавшихся «судьбы персон, арестованных в связи с мятежом»: утверждалось, что все они живы и не подвергаются никаким формам насилия. Однако день за днем слухи о них множились: в запросах, призывах и протестах, доходивших до представителей союзных держав, присутствовало все то же неясное ощущение смерти. Основные обстоятельства стали известны 8 января.

Тридцать один политический заключенный, в их числе одна молодая женщина, представляли собой пеструю смесь социал-революционеров, меньшевиков и лиц, придерживавшихся неопределенно либеральных взглядов. Никому из них не было предъявлено официального обвинения, не говоря уж о признании их вины. Колчаковская контрразведка в Иркутске арестовала их только из-за случившегося в городе политического переворота, а от этих людей можно было ожидать выступлений против правительства или же их обнаружили в компании подобных личностей. Если бы к власти пришли большевики, шансы на их арест всесильной ЧК стали бы примерно такими же.

Хотя их называли заложниками, непонятно, как Скипетров собирался их использовать в этом качестве. У него не было причин ожидать серьезного сопротивления своему возвращению в Забайкалье, и сложно представить, на какие выгоды или уступки он предполагал обменять их жизнь. Но он был подлым человеком, и его сопровождали два самых мерзких садиста из всех, кого создала Гражданская война по обе стороны внутреннего фронта: долговязый полковник Сипайлов и ренегат-англичанин капитан Грант. Скипетров возвращался из похода с большими потерями, включая по меньшей мере один бронепоезд. Вполне вероятно, он, решив, что человеческая добыча лучше чем никакая, заставил Сычева передать ему политических заключенных, которые в противном случае, учитывая шаткое положение режима их тюремщиков, могли предстать перед тем, что в белой Сибири сходило за справедливый суд.

Скипетров покинул Иркутск 3 января, а вечером 5 января на озере Байкал погрузился вместе со своими приспешниками и пленниками на ледокол

«Ангара»³⁸. Пленников согнали в каюты третьего класса, расположенные рядом с моторным отсеком, и под покровом темноты судно отошло от берега.

Почти всю ночь в салоне первого класса продолжался пьяный кутеж. Вскоре после рассвета туда начали по одному приводить заключенных. Каждому приказывали сдать имеющиеся ценности, раздеться и подписать очевидно невыполнимое обязательство в три дня покинуть пределы России. Пленникам говорили, что дадут тюремную одежду, и действительно выдавали нижнюю рубаху и кальсоны, затем выводили на палубу на сорокаградусный мороз. Там неутомимый палач по фамилии Годлевский тут же насмерть забивал жертву деревянным молотом с длинной рукояткой, предназначенным для отбивания льда с корабельных надстроек³⁹. Тела сбрасывали за борт.

Отчасти из-за того, что иногда по настроению Сипайлов с подручными казаками порол обнаженную жертву в салоне, бойня затянулась. Процесс пришлось прервать, когда ледокол проходил мимо прибрежной деревни, а в другой раз мимо другого корабля, однако после вынужденных перерывов убийцы вновь с энтузиазмом брались за дело. Спротивление оказал лишь один пленник — последний из мужчин. Его бросили за борт в ледяную воду и били молотом по голове до тех пор, пока несчастный окончательно не скрылся под водой. Женщине, которой было лет двадцать восемь, дали теплые кальсоны, но в остальном с ней поступили так же, как с остальными, — она была последней жертвой. При дележе добычи Годлевский потребовал ее шубу.

Безжалостными убийцами были семеновцы, но арестовали и отдали этих людей Скипетрову подчиненные Колчака. Отвратительное преступление усилило враждебность, с которой и без того относились к Колчаку члены Политического центра, ныне сомнительные хозяева Иркутска. «Преступление породило (...) возмущение и жажду мести. Решение проблемы стало условием дальнейшего существования Политического центра» [Футман Д. Гражданская война в России].

Такое состояние дел не могло длиться долго. На Иркутск наступали отряды недисциплинированных партизан, росло недовольство рабочих, и с каждым днем становилось все яснее, что за волнениями стоят большевики. 11 января их местный лидер Краснощеков отправился поездом на поиски 5-й армии красных и к 19-му обнаружил ее штаб в Томске. Ленин с Троцким одобрили предложения по созданию полуавтономного государства в Вос-

³⁸ Хотя большая часть озера замерзает (до такой степени, что в те времена, когда тоннели в его обрывистых берегах еще не были построены, зимой поезда пересекали озеро по рельсам, проложенным по льду), из-за теплых течений в месте вытекания Ангары сохранялся широкий проток, свободный ото льда.

³⁹ Это орудие находится в музее Иркутска.

точной Сибири с Краснощековым в роли советского верховного комиссара, неофициально руководящего правительством, сформированным Политическим центром. Однако к 20 января Политический центр, такой же бессильный, как и смещенное им правительство, сдал власть в Иркутске большевистскому революционному комитету, сокращенно ревкому.

Последний отрезок последнего путешествия Колчака занял неделю. Когда поезда 6-го чешского полка покинули Нижнеудинск, туда еще не дошли новости о полном крушении власти Колчака в Иркутске. Также еще не было известно, что Жанен и верховные комиссары покинули или вот-вот покинут Забайкалье. Флаги союзных держав, развевавшиеся над отведенным адмиралу вагоном второго класса, ободряли, и более ста офицеров и солдат погрузились в него без особых дурных предчувствий. Премьер-министра Пепелева разместили отдельно в маленьком служебном вагоне, обычно используемом охранниками или железнодорожниками, обслуживающими поезда. Любые путешественники испытывают сильное чувство облегчения, когда после долгого вынужденного простоя наконец движутся к цели, и спутники адмирала имели основания верить, что, будучи неотъемлемой частью направлявшегося на восток эшелона союзников, приближаются к безопасности и свободе.

Их уверенность таяла по мере приближения к цели почти 500-километрового путешествия. Чешские часовые — четверо днем и двенадцать ночью — охраняли коридор вагона Колчака. На многих станциях, уже захваченных мятежниками, толпились враждебно настроенные демонстранты. Разгневанные, отчаянно жестикулирующие толпы требовали выдачи адмирала и угрожали, что если чехи этого не сделают, то и угля не получают, а если захватят уголь силой оружия, то в обмен получают взорванные рельсы. В конце концов чехам всегда удавалось утихомирить толпу, но вскоре выяснилось, что только благодаря обещаниям довести Колчака до Иркутска и передать его властям.

13 января поезд добрался до станции Половина, получившей свое название оттого, что она находится точно посередине между Москвой и Владивостоком. Здесь понадобилось сменить паровоз, но железнодорожники согласились на это лишь в том случае, если им позволят разместить в вагоне адмирала собственную охрану. Эти охранники должны были проводить Колчака до Иркутска и проследить, чтобы чехи действительно сдали его властям.

После долгих споров чехи уступили. Двенадцать вооруженных мужчин с красными розетками в петлицах разместились в коридоре. Чехи оставили лишь по одному часовому в каждом конце вагона. По оценке полковника Малиновского, охраняемые стали теперь арестантами. Питьевую воду, еду и топливо для обогрева с трудом доставали с самого отъезда из Нижнеудин-

ска, а теперь все это в весьма скудных количествах можно было получить, лишь подкупив чехов.

14 января во время долгой стоянки в Иннокентьевской, в нескольких километрах от Глазкова, чешские офицеры наметнули кое-кому из штаба Колчака, что им лучше выйти как бы на прогулку и в поезд не возвращаться. Совету никто не последовал, но все почувствовали приближение беды. Сделали последнюю отчаянную попытку дозвониться до генерала Жанена. Как и все предыдущие, попытка оказалась тщетной.

До Глазкова добрались в середине следующего дня. На платформе выстроился отряд Красной гвардии числом около ста человек, однако перед вагоном Колчака расставили чешских часовых, и поэтому обитатели вагона еще надеялись на благоприятный исход. Утешал и вид японских солдат, топтавшихся на платформе и с любопытством их разглядывавших. Прошло десять минут, двадцать, сорок, прошел час, и ничего не менялось. Путешественники все еще находились под защитой союзных флагов и убеждали себя, что все будет хорошо. Какие-то австрийские военнопленные в обмен на деньги принесли им хлеб и воду.

В шесть часов вечера два чешских офицера поднялись в вагон Колчака и попросили встречи с одним из его приближенных штабных офицеров, полковником Ракитиным. Они объявили, что генерал Жанен через штаб Чехословацкого экспедиционного корпуса переслал им приказ передать адмирала Колчака местным властям. Охрана, предоставленная 6-м полком, уже собиралась покинуть вагон. Ответственность за вагон и его обитателей возлагалась на войска Политического центра.

Ракитин прошел в купе Колчака и сообщил ему новости. Адмирал потребовал, чтобы чехи повторили приказ ему лично. Все, что делается, сказали они, делается по приказу генерала Жанена, хотя им самим все происходящее совсем не нравится. «Значит, союзники предали меня?» — с горечью произнес Колчак, с виду совершенно спокойный.

В переполненном вагоне воцарилась паника, офицеры срывали погоны, выпрыгивали из распахнутых настежь окон или дверей, надеясь в последнюю минуту обрести свободу. Кое-кому с молчаливого попустительства чехов удалось скрыться до того, как красногвардейцы взяли под охрану вагон. Другие хладнокровно ожидали ареста, смирившись с судьбой. Вслед беглецам беспорядочно стреляли, но никого не ранили.

Через некоторое время Колчака и Пепеляева вывели из вагона, с ними в платье сестры милосердия вышла мадам Тимирева, отказавшаяся расстаться с адмиралом. Их плотно окружил отряд малочисленного войска Политического центра, однако двенадцать охранников, следовавших в вагоне от станции Половина, не желали покидать сцену в тот момент, когда на ней творилась история Сибири. Их интерес к заключенным носил «собственни-

ческий» характер — они не доверяли новым охранникам и хотели своими глазами увидеть, что произойдет с Колчаком. В конце концов они отправили с конвоем четырех человек, чтобы приглядывать за происходящим.

Конвой и арестанты перебрались через рельсы, отделявшие железнодорожный вокзал от берега реки и перешли в Иркутск по замерзшей Ангаре. Офицеры несли фонари, по поблескивавшему под луной льду металась прозрачные тени. Лед был неровным, бугристым, повсюду торчали обломки льдин. В воронках, оставшихся после артобстрела десятидневной давности, мерцала темная вода. На полпути Колчак одной ногой продавил слабый лед и зачерпнул валенком воду. Охранники помогли ему снять валенок, вылить воду и снова обуться. «*Merci*», — поблагодарил Колчак. Охранники удивились (как, пожалуй, должны удивиться и мы), почему он решил поблагодарить их по-французски.

На противоположном берегу обнаружили штабной автомобиль и грузовик. За ними выстроился конный конвой. Колчака и Пепеляева посадили в штабной автомобиль, Тимиреву — в кабину грузовика, охранники сгрудились в кузове. Машины ехали медленно, чтобы не обгонять кавалеристов, и через пятнадцать минут остановились перед длинным каменным зданием на северо-восточной окраине Иркутска — городской тюрьмой, где пленников передали комендантской охране и ввели внутрь. Тюремные ворота за ними закрыли, кавалерийский конвой распустили.

В последние три недели жизни Колчака его видели немногие. Одним из «счастливицов» был представитель Забайкалья, прибывший в Иркутск на конференцию, созванную для координации партизанских действий. Для делегатов этой конференции Колчак был фигурой столь же легендарной и страшной, как Наполеон в свое время для английских крестьян, и когда они узнали, что злейший враг заточен в местную тюрьму, то потребовали предоставить им возможность взглянуть на него.

К тому времени вместо Политического центра правил большевистский ревком, и самодовольные начетчики заявили, что городская тюрьма «не зоопарк», однако пяти делегатам разрешили взглянуть на самого знаменитого арестанта. Один из этой пятерки рассказал мне об увиденном.

Колчак и два его спутника занимали три соседние камеры в относительно новом крыле, которое вполне могло быть тюремной больницей. В каждом конце коридора стоял охранник, но двери камер не запирались, и заключенные могли посещать друг друга. Более того, хотя окошки были забраны решетками, помещения не были похожи на обычные камеры: чистота, одеяла на кроватях, стулья и маленький столик. Из описаний ужасающих условий в других частях той же тюрьмы в том же году становится ясно, что Колчаку были созданы условия, коих редко достаивались узники обеих сторон, участвовавших в Гражданской войне.

Колчак произвел огромное впечатление на пятерых партизан. Когда сопровождавший их военнотрудовой открыл дверь камеры, все обратили внимание на то, что он уважительно обратился к арестанту, как в прежние времена: *ваши высокопревосходительство*. Экскурсанты увидели невысокого мужчину с длинным носом, глубоко посаженными глазами, землистым цветом лица, хранившего безразличное выражение. Поверх мундира на нем была меховая безрукавка, и сорвали с него погоны — символы классовой ненависти того времени — или нет, сказать было невозможно. На всех советских карикатурах белых лидеров изображали в виде жирных, обожравшихся чудовищ с бутылкой водки в одной руке и с пистолетом в другой. Аккуратный, поджарый человек, безразлично отнесшийся к почтительно взиравшей на него делегации, внушал удивление и нечто сродни благоговейному трепету. «Похож на англичанина», — единодушно решили пятеро обитателей лесной глуши; одному из них довелось видеть британских офицеров на улицах Владивостока. Делегаты вернулись и доложили об увиденном на конференции.

Глава 19

Советские лидеры намеревались публично судить Колчака в Москве и передали 5-й армии приказ Ленина привезти его живым. Но хотя штаб этой армии выдвинулся к Красноярску вскоре после ареста Колчака, войска все еще сражались с остатками его арьергарда под командованием неукротимого Каппеля, и отправлять адмирала по железной дороге было рискованно. Пришлось оставить его под охраной ревкома в Иркутске, и здесь 21 января начались допросы.

Дознание проводилось в тюрьме, поскольку это было безопасно и удобно, ибо власть ревкома в Иркутске была лишь чуточку прочнее власти его предшественников. Делом занималась Чрезвычайная следственная комиссия, состоявшая из пяти человек. Эту комиссию назначил еще Политический центр накануне своего падения, однако трех его членов — двух социал-революционеров и одного меньшевика⁴⁰ — ревком сохранил. «При наличии этих лиц в следственной комиссии, — отмечал большевик К. А. Попов, заместитель председателя комиссии, — больше развязывался язык у Колчака: он не видел в них своих решительных и последовательных врагов». Председателем комиссии был еще один большевик, С. Г. Чудновский.

Дознание ни в коем случае не было судебным процессом. Не вызывали никаких свидетелей, не выдвигали никаких обвинений. Правда, между сень-

⁴⁰ Правые эсеры Н. А. Алексеевский и Г. Г. Лукьянчиков, меньшевик В. П. Денике. (Примеч. ред.)

мым и восьмым из девяти заседаний комиссии ревком своим декретом возложил на нее выполнение «функций суда справедливости» с правом вынесения смертного приговора, однако это было сделано на случай непредвиденных обстоятельств и никак не повлияло на методы комиссии. Ее цели так сформулировал Попов, написавший предисловие к расшифровке стенограмм допросов, опубликованной в Москве гораздо позже⁴¹: «Комиссия вела допрос по заранее определенному плану. Она решила дать путем допроса историю не только самой колчаковщины в показаниях ее верховного главы, но и автобиографию самого Колчака, чтобы полнее обрисовать этого «руководителя» контрреволюционного наступления на молодую Советскую республику».

Стенографический отчет о неторопливом и (до последнего дня) на удивление учтивом дознании — документ примечательный. На нем лежит отпечаток личности заключенного. Попов против воли восхищался поведением адмирала: «Держался как военнопленный командир проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с полным достоинством»; «...следует признать, что показания Колчака, в общем целом, в достаточной мере откровенны». Попов противопоставлял поведение бывшего верховного правителя поведению его министров, также находившихся под его опекой: их он, за редким исключением, считал трусами, желавшими «представить себя невольными участниками кем-то другими затеянной грязной истории, даже изобразить себя чуть ли не борцами против этих других».

Комиссия приступила к допросу с элементарного («*Вопрос.* Вы адмирал Колчак? *Ответ.* Да, я адмирал Колчак») и перешла к установлению фактов: ему сорок шесть лет, жена и девятилетний сын во Франции, был верховным правителем Российского правительства в Омске — «оно называлось Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял». Затем Попов спросил о «госпоже Тимиревой, которая здесь добровольно сдалась под арест»: «Какое она имеет к вам отношение?»

Колчак: «Она — моя давнишняя хорошая знакомая; она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней, и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она приехала сюда тогда, когда я был задержан чехами. (*Эти слова явно относятся к переводу Колчака из его личного поезда в вагон второго класса, прицепленный к чешскому эшелону.*) Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною».

Затем Попов спросил: «Скажите, адмирал, она не является вашей гражданской женой? Мы не имеем право зафиксировать это?» Сей вопрос был

⁴¹ Допрос Колчака. Л.: Госиздат, 1925.

вызван желанием Попова согласовать статус Тимиревой с большевистскими нравами. В период развала множества семей из-за воцарившегося хаоса большевики мало ценили официальный брак и поощряли признание незаконных браков *defacto*. Колчак ответил кратко: «Нет».

Затем обмен относительно отрывистыми репликами принял характер допроса. В первый день, пока Колчак рассказывал комиссии историю своей ранней жизни, его длинный, но четкий монолог прерывался лишь полудюжиной вопросов, ни один из которых не был неловким или враждебным. Колчак рассказывал, что отец его служил в морской артиллерии, участвовал в Крымской войне, побывал во французском плену; мать — уроженка Одессы, из провинциальных дворян. У него было две сестры, одна умерла, где находится вторая, он не знал. Сам он женился «здесь, в Иркутске», в марте 1904 года.

Шаг за шагом он вел следователей по своему жизненному пути: служба в военном флоте; удовлетворение склонности к океанографии и гидрологии, неосуществленные мечты об исследовании Антарктики; наконец, выпавший шанс сопровождать экспедицию барона Толля на Таймыр и острова Новой Сибири (Новосибирские острова) в 1900 году. После трех зимовок в Арктике Толль не вернулся из опрометчивого рекогносцировочного путешествия на остров Беннета. Ледовая обстановка обрекла его поиски на неудачу, и оставшимся исследователям осталось лишь прекратить работу и вернуться домой.

В Императорской Академии наук, финансировавшей смелое предприятие, были глубоко озабочены судьбой Толля. Колчак вызвался организовать спасательную экспедицию, даже если придется передвигаться на гребных шлюпках. Академия наук предоставила ему необходимые средства, и именно на гребных шлюпках (на одном из этапов экспедиции спасателям пришлось провести в них сорок два дня и сорок две ночи) дошел до острова Беннета отряд молодого морского офицера. Выяснив обстоятельства гибели Толля, экспедиция вернулась в Россию накануне Русско-японской войны.

Читателю уже, должно быть, понятно, что комиссия успешно достигала второй из своих целей: дать беспристрастный «автопортрет Колчака». В его рассказе мирно уживались оправданная гордость и природная скромность. Длинные, практически спонтанные показания оставляют впечатление поиска истины, желания установить основные вехи на приближающемся к завершению пути. Впоследствии Попов замечал: «Он знал, что его ожидает. Ему не было нужды что-нибудь скрывать для своего спасения. Спасения он не ждал, ждать не мог и не делал ради него попытки хвататься за какие бы то ни было соломинки». Однако невозможно не заподозрить, что в этом было нечто большее, чем предполагает невольное великодушие его (в конце) самого безжалостного следователя.

Более года Колчак пребывал не в ладу с судьбой и с самим собой; он играл роль, для которой не годился, в компании, к которой не питал интереса. Он обманывался в своих надеждах, доверял недостойным доверия людям, совершал непростительные ошибки. Последние два месяца он провел в заключении самого оскорбительного свойства. Запертый в железнодорожный вагон, как дикий зверь в клетку, вынужденный терпеть унижения, он ничего не мог изменить, ему нечем было развлечь измученный разум, кроме как кошмарной панорамой поражения, бесконечно разворачивавшейся вдоль тракта на его глазах. Он стремительно скатился с ослепительной высоты власти в бездну полного поражения и абсолютного бессилия. Теперь он находился в тюрьме в ожидании неминуемой смерти.

И все же в этих жестоких обстоятельствах арестант словно укреплялся духом, что сказывалось на его манере держаться. Членам комиссии до самого последнего дня казалось, будто он испытывает облегчение и почти совершенно безмятежен. В показаниях адмирала нет ни следа нервного напряжения, внезапных приступов гнева, часто отмечаемых людьми, знавшими Колчака как верховного правителя в Омске. Казалось, он просто искренне заинтересован в том, чтобы честно изложить ход событий. Попов объясняет эту откровенность предположением, что Колчак давал свои показания «не столько для допрашивавшей его власти, сколько для буржуазного мира». Но вряд ли Колчак мог подумать, будто отчеты о допросах, производимых в тюремной камере, когда-либо будут опубликованы, и мысль о том, что он говорил столь свободно, чтобы произвести впечатление на потомков, так же невероятна, как теория о том, что он пытался облегчить работу комиссии. Из его показаний встает образ человека, который радуется возможности разобраться в своей жизни и делает это так, как умеет, причем находит в этом странное, смутное удовлетворение.

Следователям так и не удалось заставить Колчака изменить оценку событий, даже если это казалось вполне возможным. Типичное силовое давление мы наблюдаем, когда речь заходит о поражении России в Русско-японской войне. Алексеевский настаивает: «Вы (...) не могли не видеть, что наши морские неудачи определились политическими обстоятельствами... Вы тогда не пришли, как и большинство интеллигентного русского общества, к выводу, что необходимы политические перемены во что бы то ни стало, хотя бы даже и путем борьбы?»

Колчак (который в той войне воевал, получал награды, был ранен и захвачен в плен) не попался на удочку. «...Главную причину (нашего поражения) я видел в постановке военного дела у нас на флоте... Флот не занимался своим делом... Я считаю, что политический строй играл в этом случае второстепенную роль. Если бы это дело было поставлено как следует, то при

каком угодно политическом строе вооруженную силу создать можно, и она могла действовать».

Снова и снова следователи возвращались к этому вопросу. «Главой всех военных сил был император... У нас есть поговорка: рыба гниет с головы. Не приходили ли вы к убеждению, что именно сверху нет ничего, кроме слов, в отношении ответственности и руководства?» Колчак не собирался откаться от своих убеждений. «Я считал, что вина не сверху, а вина была наша — мы ничего не делали». Он проиллюстрировал свой тезис замечанием о низком уровне боевых стрельб на флоте в 1904 году. Командование отдавало резонные приказы об учебных стрельбах, однако исполнение тех приказов было «никуда не годное благодаря общему невежеству, отсутствию знаний у наших руководителей, отсутствию подготовленных людей для того, чтобы руководить флотом». Десять лет спустя — при том же политическом режиме — «после страшного урока у нас был флот, отзывы о котором были самые наилучшие, постановка артиллерийского дела была великолепно разработана». Политика, повторил Колчак, не имела к этому никакого отношения.

Следователи не отступались: «Наверняка катастрофа Русско-японской войны вызвала у вас некоторые сомнения относительно царской династии и личности самого царя». — «Нет, — ответил Колчак, — я откровенно должен сказать, что это у меня никаких вопросов не вызывало». Так и продолжалось час за часом, день за днем. Колчак подавлял своих следователей, как медведь загнавших его собак. Он был слишком горд и слишком честен, чтобы приспособлять свои показания к их доктринерским требованиям, и слишком независим (по существу, он уже был мертвецом и вне пределов их досягаемости), чтобы заботиться о производимом впечатлении. И все же он так увлекся реконструкцией своего прошлого, что не искал легких путей, ни разу не сказал обреченно: «А, ладно. Пусть будет по-вашему».

Тем временем следователи постепенно подошли к периоду революции и Гражданской войны и, возможно, ожидали, что ответы Колчака станут более сдержанными и осторожными. Даже намеков на это мы не наблюдаем. Только когда приходилось говорить о других людях, адмирал отрицал факт своего знакомства с ними или ссылался на забывчивость. Он не мог не знать, что большая часть правительственных архивов попала к Советам и даже если пока в целом недоступна иркутской следственной комиссии, то наверняка будет подробно изучена обвинением, когда дело дойдет до суда. Так что в отношении себя Колчаку не было смысла темнить и тем более лгать.

Адмирал свободно говорил о многом, лежащем вне сферы компетентности не только его следователей, но и всех, кто находился в России. Например, он правдиво рассказал все о своих связях с британцами в Токио и Сингапуре и с японским Генеральным штабом; он упомянул о своих контактах с начальником военно-морской разведки в адмиралтействе. Все эти факты,

по существу вполне безобидные, советский государственный обвинитель легко бы обратился против него.

Колчак также не был готов скрывать свои личные убеждения, какими бы они ни были возмутительными для его тюремщиков и потенциально губительными для него самого. Как-то он сказал как само собой разумеющееся, что, по его мнению, «у большевиков мало положительных сторон». В другой раз его спросили: «Как вы лично относитесь к погонам?» Этот вопрос, сам по себе очень пустячный, у нас в русской действительности превратился в большую проблему⁴². Колчак ответил, что он ценит погоны на том основании, что они являются истинно российским знаком отличия, не существующим нигде за границей: «Я считал, что армия наша, когда была в погонах, дралась, когда она сняла погоны, это было связано с периодом величайшего развала и позора. Я лично считал — какие основания, чтобы снимать погоны? Вся наша армия всегда носила погоны». Вряд ли пленник мог более резко заявить о своих контрреволюционных убеждениях, даже если бы плюнул на красный флаг.

Закончив 4 февраля восьмое заседание, комиссия перешла от зачастую праздных вопросов к изучению недавних деяний Колчака, включая *государственный переворот*, который привел его к власти в Омске менее пятнадцати месяцев тому назад. Другими словами, комиссия наконец-то собралась заняться существом дела. Однако, когда члены комиссии собрались вновь через два дня, атмосфера резко изменилась. Причиной явились события, произошедшие западнее Иркутска.

15 января, когда Колчака в Глазкове передали Политическому центру, к западу от Иркутска стояло еще много чешских эшелонов — самые последние только что прошли через Канск. Золотой запас, который чешское Верховное командование передало ревкомму, в теории служил чехам охранной грамотой и гарантировал им свободный проезд на восток. Неким буфером чешскому арьергарду служили польская дивизия и румынский контингент, чьи эшелоны чешское командование предусмотрительно поместило в самый конец и чьим попыткам прорваться вне очереди эффективно мешали чешские бронепоезда.

⁴² Погоны, которые носили русские офицеры, были больше и вычурнее тех, что носили в армиях других европейских государств. Во время революции они вызывали ненависть, сравнимую с отношением британской армии к красным петлицам штабных офицеров в Первой мировой войне, но гораздо более сильную. Захваченным в плен белым офицерам, случалось, погоны прибивали гвоздями к плечам. Один из свидетелей-британцев рассказывал, что после захвата Красноярска красными погоны усеяли улицы, «как осенние листья». Эти знаки отличия, официально заклеенные как знаки привилегий и контрреволюции, были восстановлены советским правительством в 1942 году, когда после серии поражений от гитлеровской армии моральный дух Красной армии сильно упал. С тех пор погоны считаются вполне благопристойными знаками отличия. (Погоны в Красной армии введены 6 января 1943 г., 15 февраля — во флоте. Мотивы соответственно были иные.) (Примеч. ред.)

Однако чехам все еще грозила опасность. У них были проблемы с поляками, не без оснований ощущавшими, что их бросают в беде, а когда 5-я армия красных уничтожила или захватила в плен почти всех поляков, возникли аналогичные проблемы с румынами, пока и их не постигла та же судьба. Затем у чехов были стычки с авангардами большевиков, затем они столкнулись с враждебностью железнодорожников и мятежников, уже контролировавших станции. И только 7 февраля они смогли заключить непрочный мир с 5-й армией в местечке под названием Куйтун. Одним из пунктов этого договора подтверждалось, что чехословацкие войска оставят Колчака и его приверженцев, арестованных ревкомом, в Иркутске в распоряжении советского правительства под охраной советских войск и не станут вмешиваться, как бы советская власть ни решила поступить с этими заключенными.

Однако злосключения чехов повлияли на события в Иркутске лишь в том отношении, что усугубили хаос и неопределенность ситуации на железной дороге и заставили ревком с опаской поглядывать на Запад. Главной причиной тревоги ревкома, на первой неделе февраля граничившей с паникой, были отчаянно упорные арьергарды колчаковских армий под командованием генералов Каппеля и Войцеховского. Когда несколькими неделями ранее Каппель публично вызвал на дуэль Сырового, Жанен в телеграмме в Париж язвительно заметил: «Во время нашего отступления из России маршал Ней сражался со своими солдатами плечом к плечу и не докучал никому вызовами на дуэль». Эта насмешка над Каппелем крайне несправедлива. В его распоряжении не было поездов, а лошадей было слишком мало, и все же он поддерживал свое войско в боевом состоянии, курсировал по тракту, обходя города, которые не мог взять штурмом, нанося ответные удары нагоняющей его Красной армии. Даже Жанен в своих мемуарах был вынужден признать действия отрядов Каппеля «беспрецедентным подвигом терпения», хотя продолжал критиковать их за то, что они не остановились, чтобы дать генеральное сражение.

Отряды Каппеля захватили Нижнеудинск 20 января. Они уже знали об аресте Колчака и решили спасти его. В то время они поравнялись с последними чешскими поездами, могли покупать еду в их интенданствах и платили наверняка золотом. Каппель страдал от сильного обморожения обеих ног (его отряды понесли из-за морозов не менее серьезные потери, чем от тифа), и чешский доктор, старавшийся помочь ему, доложил, что его жизнь в опасности. Чехи предложили Каппелю место в одном из их передвижных лазаретов, но тот отказался принять милость от людей, предавших его командующего, и, смертельно больной, остался на безжалостном морозе в санях. Каппель умер 27 января, передав командование Войцеховскому. Чехи забрали его тело в Читу, где и похоронили лучшего из колчаковских командиров.

Его люди продвигались дальше под командованием Войцеховского. Они взяли станцию Зима и направились к Черемхово. Чехи всерьез тревожились, что возобновившиеся вокруг Иркутска бои затруднят их эвакуацию, их не радовала мысль о возможном освобождении Колчака. Они пытались согнать каппелевцев с тракта и мешали им реквизировать лошадей, занятых на подвозе угля с окрестных шахт к железной дороге. Однако Войцеховский преодолел все эти препятствия и 2 февраля захватил станцию Иннокентьевская — последнюю перед Глазковым.

Эти события вызвали в Иркутске нешуточную тревогу. 29 января в городе объявили военное положение, а 2 февраля — осадное положение. В ледяном покрове Ангары заложили мины, а приличный запас боеприпасов и другого военного имущества эвакуировали в леса к югу от города — на тот случай, если Иркутск отстоять не удастся. Однако было физически невозможно рассредоточить золотой запас и весьма опасно везти его дальше на восток, на территорию, контролируемую Семеновым. Опасения ревкома отразились в приказе от 6 февраля, обязывающем всех, кого это касалось, разрушать мосты, тоннели, железнодорожные пути и все средства транспорта, чтобы они не попали в руки врага.

Тем временем попытался выступить в роли посредников союзный триумvirат: генерал Сыровой, один из чешских политических лидеров Благож и капитан Стиллинг, офицер британской военной миссии, застрявший в Иркутске и пытавшийся обманом наделить себя дипломатическим иммунитетом, коим обычно пользуются консулы. Эта троица периодически связывалась по телефону с Войцеховским, и именно через них 2 февраля этот белый командир передал условия, на которых он готов обойти Иркутск, оставив в покое местных правителей. Условия были весьма жесткими и включали следующие требования: «Беспрепятственный пропуск армий за Байкал по всем путям в обход Иркутска; освобождение адмирала Колчака и арестованных с ним лиц, снабжение их документами на право выезда как частных лиц за границу; снабжение армий деньгами в сумме 200 миллионов рублей, в том числе на 50 миллионов рублей звонкой монетой».

Если бы члены ревкома приняли эти пункты, то впоследствии подверглись бы суровому наказанию со стороны советских властей. Так что условия были отвергнуты. Войскам Войцеховского разрешалось пройти через Иркутск только в том случае, если они сдадут оружие. На этом переговоры были прекращены, и 4 и 5 февраля белые возобновили наступление и вышли на окраины Глазкова. Положение ревкома стало незавидным. Его собственные войска были слабы, в городе царило недовольство и нищета, полагали, что в Иркутске существовало белогвардейское подполье, а чехи руководствовались исключительно личными интересами. В этой опасной ситуации

(сильно напоминавшей ситуацию с царственными заложниками в Екатеринбург в июле 1918 года) ревкому ничего не оставалось кроме как выполнить свой долг: в ночь с 4 на 5 февраля было решено казнить Колчака и Пепеляева, пленников 5-й армии. Что и исполнили вечером 6 февраля.

Глава 20

Утром 6 февраля Колчак в последний раз предстал перед Чрезвычайной следственной комиссией. Он отдавал себе отчет в происходящем. Он знал об ультиматуме Войцеховского, заметил усиление тюремной охраны, периодически слышал отдаленный грохот орудий за Ангарой. Попов отметил, что как раз в те последние дни во время обыска тюрьмы перехватили записку, адресованную Тимиревой, в которой Колчак предвидел, что ультиматумом Войцеховского «лишь ускорится неизбежная развязка». Сам факт записки показывает, что узников теперь охраняли более тщательно и не разрешали посещать соседние камеры.

Согласно свидетельству Попова, Колчак в последний день «был настроен нервно, обычные спокойствие и выдержка <...> его покинули», но и сами следователи «нервничали и спешили». Они уже не интересовались подробной «автобиографией», а добивались дискредитирующих показаний об омском режиме, и, поскольку у них оставался всего один день, им, по признанию Попова, удалось это сделать «в очень скомканном виде».

На первых восьми заседаниях следователи задавали Колчаку в среднем по двадцать четыре вопроса; на девятом — почти в шесть раз больше. От их вежливости не осталось и следа. Они больше не начинали обращение к нему словами: «Скажите нам, адмирал» или «Я хотел бы поставить следующий вопрос». Они сами были перепуганы и вынуждены увеличить темп допроса, а потому стали жестче и требовательнее. Однако, даже находясь под сильным давлением, адмирал придерживался единственно возможной в его положении линии поведения. Попов отмечал: «...Колчак, очень нервничая, все-таки проявил большую осторожность в показаниях: он остерегался и малейшей возможности дать материал для обвинения отдельных лиц, которые попали или могли еще попасть в руки восстановленной советской власти».

Первую серию вопросов, не самых важных, задал Алексеевский. Встречался ли Колчак с князем Львовым? Савинковым? Генералом Апрелевым? Колчак не смог идентифицировать в памяти Апрелева... Каковы были его отношения с французским верховным комиссаром Реньо, на которого он туманно ссылаясь в письме Тимиревой?.. Текстуально протоколы последнего заседания комиссии не очень отличаются от предыдущих до того момента, пока к допросу не приступает юрист Попов.

Абстрактные вопросы — связи Колчака с союзниками или его отношение к перемирию, заключенному 11 ноября 1918 года и положившему конец мировой войне, — Попова не интересовали. Он спрашивал об арестах и казнях, пытках и захватах заложников, о чем сам знал немало. Вскоре допрос стал напоминать полет пустельги, бесцельно вроде бы парившей над полем и вдруг застывшей, нацелившейся на добычу: Попова интересовало декабрьское восстание 1918 года в Куломзине и его жестокое подавление. На первых заседаниях Попов уже задавал несколько вопросов, теперь представился долгожданный случай, и он не преминул им воспользоваться.

Когда началось восстание в Куломзине, Попов находился в омской тюрьме и его имя попало в список подлежащих казни в ходе последовавших за подавлением восстания репрессий. Но поскольку он болел тифом, тюремщики отказались возиться с ним, а Бартошевский с подручными не рискнули войти в палату для больных тифом. Так вот Попов и выжил.

Поэтому Попов не понаслышке знал почти все о так называемых «полевых военных трибуналах» и массовых расстрелах после них, а иногда и перед ними. («Вы, как верховный правитель, должны были знать, что на самом деле никаких судов не происходило, что сидели два-три офицера, приводилось по пятьдесят человек, и их расстреливали».) Он знал и о повальных телесных наказаниях. Он знал и о пыточных камерах в контрразведке Ставки. («Я сам видел людей, отправленных в Александровскую тюрьму, которые были буквально сплошь покрыты ранами и истерзаны шомполами, — это вам известно?») И он скрупулезно изучал захваченные материалы расследований, которые верховный правитель назначал в случае самых страшных зверств.

Ответы Колчака на эти острые вопросы были неубедительны — например, что он серьезно болел во время этих инцидентов. «Я не помню... Таких сведений у меня не было... Мне об этом не докладывали... То, что вы сообщаете, было мне неизвестно». В действительности его ответы уже не имели ни малейшего значения. Ему нечего было терять, его следователи ничего не могли выиграть. Однако обе стороны в душном помещении девять дней играли в одну и ту же странную игру, и, хотя в исходе никто больше не сомневался, они все еще продолжали подчиняться тем же правилам, все еще были увлечены своей игрой. Очевидно, что Колчак чувствовал себя неудобно, в первый раз оказавшись в столь невыгодном положении.

И в конце заседания он продолжал отстаивать свою точку зрения. От безнравственности расстрела заложников комиссия перешла к такой репрессивной мере, как сжигание деревень. Колчак сказал, что никогда официально не санкционировал подобных акций, но считает, что «во время боев и подавления восстаний такая мера неизбежна и приходится прибегать к этому способу». Он признал, что знал о трех случаях, когда деревни были уничтоже-

ны, однако «это были укрепленные пункты, которые уничтожались в бою» — «это была база повстанцев (...) и она должна быть уничтожена для того, чтобы ею не могли воспользоваться впоследствии».

Комиссия возразила, что вместо уничтожения можно было просто оставить гарнизоны, и в своем последнем слове Колчак попытался напомнить комиссии о суровых реалиях Гражданской войны. По его словам, некий член ревкома рассказал об увиденных в одной деревне людях, которым белогвардейцы отрезали уши и носы. Колчак не смог отрицать такую возможность, после чего член ревкома описал свою реакцию: «Он отрубил одному из пленных ногу, привязал к телу веревкой и послал его назад к белым. На это я ему только мог сказать: «Следующий раз весьма возможно, что люди, увидав своего человека с отрубленной ногой, сожгут и вырежут деревню. Обычно на войне так делается».

Стенографисты еще записывали эти слова, когда члены комиссии встали и Колчака отвели в его камеру.

В тот же вечер иркутскому ревкому сообщили, что Реввоенсовет 5-й армии одобрил предложение ликвидировать Колчака и Пепеляева, и члены ревкома начали готовить заявление о приведении приговора в исполнение. В заявлении, носившем самооправдательный характер, говорилось, что в Иркутске обнаружена тайная белогвардейская организация и найдено спрятанное оружие, что в городе происходит «таинственное передвижение предметов боевого снаряжения», распространяются портреты Колчака, уже объявленного вне закона, и, чтобы предотвратить бесцельные жертвы, Колчак и Пепеляев будут расстреляны. «Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв».

Ранним утром 7 февраля 1920 года в тюрьму прибыл грузовик с расстрельной командой. Солдат сопровождали комендант Иркутска и председатель Чрезвычайной следственной комиссии Чудновский. Чудновский (на чье свидетельство не стоит безоглядно полагаться) утверждает, что Колчак уже был чисто выбрит, полностью одет, включая шубу и меховую шапку, и готов покинуть камеру. И что, хотя адмирал держался спокойно и с достоинством, выслушав приговор, он безуспешно попытался проглотить яд. Эта последняя деталь совершенно неправдоподобна, ибо, если у Колчака был яд, он легко мог бы проглотить его без помех. Топографическая ошибка в отчете о последующих событиях заставляет предположить, что воспоминания Чудновского были затуманены, скорее всего, алкоголем.

Несчастный Пепеляев не выдержал и на коленях просил милосердия. Грузный сибиряк весьма средних способностей, в тесноте железнодорожных вагонов он никак не мог выполнять свои премьерские и вообще какие-либо министерские обязанности, и непонятно, на каких основаниях — кро-

ме разве что протокольных — его признали заслуживающим смерти⁴³. Неизвестно, разрешили ли Колчаку проститься с Тимиревой, содержавшейся в соседней камере, перед тем, как его вывели из тюрьмы.

Как и прежде, тюрьма эта стоит на берегу Ушаковки, притока Ангары. Метрах в 100 ниже по течению во льду была пробита прорубь, и на тюремную охрану возлагалась обязанность не допустить ее замерзания. Край откоса осветили фары грузовика, привезшего расстрельную команду. Солдаты выстроились по другую сторону от капота, чтобы не заслонять свет фар. Когда тюремная охрана во главе с начальником тюрьмы вывела Колчака на освещенное место, тихая морозная ночь донесла с запада звуки перестрелки.

Пепеляева пришлось тащить волоком. Оба обреченных были в наручниках. Колчаку предложили завязать глаза, но он отказался. Его последние слова передают по-разному, и все источники ненадежны. Только один лично мне кажется достоверным. По этой версии, Чудновский спросил, есть ли у Колчака последняя просьба. «Я прошу, — сказал Колчак, — сообщить моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына». Чудновский обещал выяснить, можно ли это сделать. Ничего сделано не было.

На месте казни находился священник. Приговоренные помолились вслух. Затем их поставили бок о бок в том месте, где многие мужчины и даже женщины в последний раз видели звезды. Глаза Пепеляева были закрыты, лицо — мертвенно-бледно. Колчак полностью владел собой. «Типа англичанина» — эта аналогия странным образом возникает вновь в официальном советском отчете о казни.

Раздался приказ, затем резкий залп, Пепеляев и Колчак упали. Последовал второй и, возможно, — видимость была плохой — излишний залп. (Тимирева в своей одиночной камере слышала грохот этой пальбы.) Тела ногами и прикладами скинули по наледи, потемневшей от крови других жертв, затем сбросили в воду и затолкали под лед. По выражению Чудновского, председателя Чрезвычайной следственной комиссии, тела были преданы водам Ангары.

Расстрельную команду построили снова, поскольку оставалась третья жертва: китаец по имени Чен Тинфань, нанятый охраной верховного правителя для самых грязных дел. Китаец владел различными специальными приемами, весьма ценными для допросов. Это мерзкое существо притащили на место казни, и снова прогремел залп. Чен Тинфань покинул этот мир

⁴³ У иркутского ревкома могли быть свои резоны относительно В.Н.Пепеляева. Депутат 4-й Государственной думы от партии конституционных демократов (кадетов), он летом 1918 г. был командирован в Сибирь кадетским Национальным центром — одним из организаторов Белого движения, — имел непосредственное отношение к введению Колчака во власть и занимал в его правительстве должности по Министерству внутренних дел (в том числе — министра). (Примеч. ред.)

той же дорогой, что провожал многих других. Водитель грузовика завел мотор, солдаты вскарабкались в кузов, и грузовик, подпрыгивая на ухабах, покатил мимо тюрьмы, по мосту через Ушаковку в Иркутск. На востоке занималась заря.

Глава 21

Интервенция с позором провалилась. Последние войска Антанты отплыли из Архангельска 27 сентября 1919 года. 6-я армия красных, не встретив сопротивления, вошла в город пять месяцев спустя, и местные жители приветствовали ее. Деникин, еще осенью находившийся в опасной близости от Москвы, был окончательно отброшен и в марте 1920 года с остатками своих армий заперт в Крыму, где передал командование барону Врангелю.

Но не все трудности остались позади, ибо поляки осуществили успешное наступление в глубь территории своих бывших владык, а французы, горячо поддерживавшие правое дело поляков, подзуживали Врангеля вырваться из Крыма хотя бы для отвлекающего удара. Стремительная атака Врангеля и маневры его врагов привели к эпилогу, такому же кровавому и бессмысленному, как и предыдущие главы истории Гражданской войны. Врангель отвоевал значительных размеров плацдарм в Южной России, и в августе 1920 года французское правительство официально признало *de facto* его власть.

Однако в октябре Польша и Советская Россия заключили мир, Красная армия смогла сосредоточиться на борьбе с последним оплотом контрреволюции, и Врангель, спасовав, очень успешно эвакуировал из Крыма в Турцию на 126 кораблях — в основном французских и русских — 100-тысячное войско и почти 50 тысяч гражданских лиц.

Врангелю, как и Колчаку, не всегда везло с подчиненными. Пожалуй, в нарисованном им в те решающие дни портрете его старшего армейского командира можно увидеть отображение упадка всего Белого движения.

Генерал Слащов, ранее названный Врангелем рабом морфия и хроническим алкоголиком, абсолютно не способным удержать самый незначительный рубеж, тем не менее защищал жизненно важный перешеек Перекоп, ворота Крыма. Перед главнокомандующим Слащов предстал в ужасающем виде. Лицо — смертельно бледное, губы дрожат, из глаз струятся слезы. В железнодорожном вагоне царил невероятный беспорядок. Стол заставлен бутылками и тарелками с закусками; повсюду разбросаны одежда, игральные карты, оружие. Среди всего этого хаоса Слащов в фантастическом белом доломане, отороченном золотой тесьмой и мехом. Вокруг самые разные птицы: журавль, ворон, ласточка и сойка. Они прыгали по столу и полкам,

летали и садились на голову и плечи хозяина... Врангель настоял на том, чтобы генерал Слащов подвергся медицинскому обследованию.

В Сибири, месте крушения проектов всех союзных держав кроме Японии — несмотря на туманность такой надежды, — с самого падения Омска подразумевалось, что золото еще можно спасти. Тем временем последний из двух британских батальонов, 1-й батальон 9-го Гэмпширского полка, отплыл из Владивостока 1 ноября 1919 года. Некоторые офицеры и солдаты чуть ли не рыдали, когда транспортный корабль отходил от берега. Их мучили не угрызения совести и не жалость к измученной стране, которую они покидали, а тот факт, что по карантинным нормам, установленным в последний момент, им пришлось бросить прирученных ими собак. Эти несчастные животные, брошенные на набережной, неистово метались взад-вперед или сидели тоскливо подвывая.

И французы уехали, и итальянцы. Советы Вашингтона по вопросу вывода войск были столь противоречивы и запутанны, что практически не поддаются анализу. Участились провокационные действия японских войск и их русских *протезе* против американских солдат и инженеров-путейцев, и к концу августа 1919 года ситуация стала критической. США направили в Токио ноту протеста, пригрозив, что выведут все американские войска, если подобные действия не прекратятся. Нота удручила омское правительство, но японцы не отвечали целых два месяца. В октябре генерал Гревс получал разведанные о том, что Семенов и его менее значительные коллеги-марионетки Калмыков и Розанов планируют наступление на широко разбросанные силы американцев; на Токио продолжали оказывать дипломатическое давление с неопределенными, но смутно обнадеживающими результатами.

К тому времени рухнул омский режим, Красная армия приближалась к озеру Байкал, и стало ясно, что если американцы не сдадут позиций, то едва ли им удастся избежать столкновения с большевиками. Тут американцы своевременно осознали, что близки к своей первоначальной цели — спасению Чехословацкого легиона. В обстоятельствах, по самым разным причинам чрезвычайно оскорбительных для Японии и крайне тревожных для Китая, Гревсу приказали в начале января сконцентрировать все войска во Владивостоке для эвакуации.

Госдепартамент США и британское Военное министерство, которые и прежде никак не могли прийти к соглашению, теперь нашли повод для новых разногласий. Британцы заявляли, что если американские гарнизоны, охранявшие железную дорогу в Забайкалье, уйдут во Владивосток до того, как чехи пересекут их зону, то чехов некому будет защищать, если Семенов нападет на них. Госдепартамент обращал внимание на то, что в Сибири находится 72 тысячи чехов и лишь около 5 тысяч американцев, и напоминал о до сих пор не изменившемся мнении одного эксперта, что если американские

отряды, расположенные вдоль железной дороги, окажутся в опасности, то всегда могут положиться на помощь чехов. После этого эвакуацию завершили, и последний американский контингент отплыл из Владивостока 1 апреля 1920 года. А последние японские войска вывели лишь два с половиной года спустя.

Поражение всегда порождает взаимные обвинения и упреки. Русские обвиняли союзников в вероломстве, а союзники более не видели необходимости скрывать свою убежденность в продажности, некомпетентности и зачастую трусости белых. Однако в Сибири был один вопрос, вызывавший резкие противоречия и возмущение как среди русских, так и в лагере их союзников: то, как Колчака отдали в руки его врагов.

Пока это было в их власти, верховные комиссары союзников официально гарантировали Колчаку личную безопасность. Генерал Жанен, как главнокомандующий всеми союзными войсками на Сибирском театре военных действий, получил от них приказ, совершенно ясно демонстрирующий их намерения и возлагавший на него ответственность за защиту адмирала, если тот обратится за этой защитой. Лишив Колчака его поездов и оборвав его связь с внешним миром, войска, подчинявшиеся Жанену, не оставили Колчаку никакого выбора. Адмиралу пришлось считаться с навязываемыми ему условиями охраны и перемещения, и 6 января он попросил, чтобы его взяли *«sous la garde des Puissances Allies»* («под охрану союзных великих держав»). Чехи обращались с адмиралом весьма сурово, но, несомненно, чувствовали себя ему обязанными. Жанен напомнил им: «Мы имеем международный мандат и обязаны защитить его». Флаги союзных держав, укрепленные на адмиральском вагоне, заявляли о статусе убежища. На этом фоне передача Колчака мятежникам в Иркутске — без возражений и явно по предварительной договоренности — деяние по меньшей мере некрасивое.

Верховные комиссары были шокированы и из Харбина, где застигли их новости, отправили генералу Жанену совместный протест в самых резких выражениях. Протест подписали Лэмпсон от Великобритании, Като от Японии и даже де Могра от Франции. В действиях чехов они усмотрели нарушение долга и призвали их главнокомандующего отчитаться. Очевидно, что инцидент захватил их врасплох, им и в голову не приходило, будто Жанен (даже не уведомивший их об аресте Колчака) позволит чехам обмануть их доверие. «Поступок генерала Жанена, — телеграфировал Лэмпсон в британское министерство иностранных дел 23 января, — тем более непостижим, что вышеупомянутое соглашение приняли в его присутствии и с его полного согласия; формулировки даже специально изменили по его желанию ввиду известных настроений чешских войск, коим предстояло выполнять условия соглашения».

Жанен, чья совесть была нечиста, давно ожидал неприятностей. Покинув Иркутск 8 января, он медленно двигался на восток, составляя по пути многочисленные телеграфные отчеты в Париж. В них он, пока мог, притворялся, что его отсутствие в Иркутске дело временное. «Ради нескольких дней, проведенных вне города», он доехал аж до Слюдянки в южной оконечности озера Байкал, но запасные пути там были забиты поездами, и он проехал еще сотню километров на восток до Танхой. Здесь «из-за отсутствия хорошей связи» пришлось ехать дальше, до станции Мысовая. «В зависимости от обстоятельств, — сообщал он в Париж 12 января, — я вернусь в Иркутск или продолжу путь на восток». Если бы Жанен вернулся в Иркутск, его прибытие примерно совпало бы с приездом Колчака, однако, читая его мемуары и зная обстановку тех дней, можно предположить, что он об этом и не помышлял.

14 января Жанен был в Верхнеудинске, где американский гарнизон под командованием полковника Морроу держал под арестом одного из семеновских генералов, шесть офицеров и сорок восемь рядовых. То была команда бронепоезда, захваченная американцами после того, как они как-то ночью обстреляли один из их стационарных воинских эшелонов. Допросы пленников показали, что за последние десять дней они убили более сорока мужчин и изнасиловали и убили трех женщин. В силу необходимости их освободили 23 января — контингент Морроу отбыл во Владивосток. Скипетров и его компаньоны также вышли сухими из воды, ибо Жанену пришлось уступить давлению японцев, действовавших в интересах Семенова, и чехам, их арестовавшим, приказали освободить палачей. Восточнее Байкала трагедия сменилась театром ужасов.

Днем 14 января Жанена подозвали к телефону. Звонил Сыровой из Иркутска. Чешский главнокомандующий с тревогой докладывал о неприятностях, с которыми столкнулись тыловые эшелоны чехов. Шахтеры и железнодорожные рабочие бастовали, в Глазкове готовилось вооруженное сопротивление (это сообщение подвергалось сомнению). Ангарская бойня еще больше разожгла ненависть к Колчаку.

«Чешская армия была в опасности, и Сыровой предчувствовал, что сможет эскортировать адмирала только до Иркутска, — отмечал Жанен в своих мемуарах. — Я ожидал такого развития событий несколько дней и часто думал об этом, особенно когда мучился бессонницей», — продолжал он. Однако он по-прежнему проявлял если не полное безразличие, то отсутствие явного участия в судьбе Колчака. Только в конце длительной встречи с делегацией Политического центра, приехавшей к нему в Верхнеудинск 16 января, Жанен спросил: «Вы можете сообщить мне что-нибудь об адмирале?» Когда ему ответили, что накануне чехи передали им Колчака, он закрыл эту тему и почти сразу же распрощался. Делегаты были людьми скромными,

почтительными и явно зависимыми от Жанена. Кажется странным, что он не сделал того, что на его месте сделал бы любой другой, — не спросил, как они собираются поступить с Колчаком, или не выразил надежду, что с пленником поступят гуманно.

В течение недели на поезд французской военной миссии сыпался град возмущенных протестов, и Жанен обнаружил, что его повсеместно обвиняют в «предательстве» верховного правителя. Горячность, быстрота и само количество его ответов заставляют предположить, что он не был готов к обвинениям. Бывшие столпы омского режима разбежались от Харбина до Владивостока и оттуда телеграфировали Жанену напыщенные обличения. Он приказал своему начальнику штаба разъяснить им в *«нескольких резких выражениях»*, что ни один русский, сбегавший в безопасное место, не имеет права упрекать Жанена в том, что тот не приказал иностранным войскам сложить свои головы за Колчака.

Однако телеграммы верховных комиссаров волновали его гораздо больше, и им он посылал, по возможности, аргументированные ответы. Лэмпсон называл их «крайне длинными» и, исходя из их тона, советовал министерству иностранных дел «не иметь больше никаких дел с генералом Жаненом». Генерал (как мы покажем далее) имел более веские основания, чем явствует из его невнятных попыток оправдаться.

Жанен жалуется, что верховные комиссары приказали ему защищать Колчака, но не предоставили ни одного отряда из собственных национальных войск для выполнения этой задачи. Он критикует их за поспешный отъезд из Иркутска. Он винит маленькое японское подразделение в Глазкове за то, что оно уклонилось от выполнения своих обязанностей — спасения Колчака. Он неоднократно уверяет, что любая попытка спасения адмирала Чехословацким корпусом была бы самоубийственной. Он снова и снова ссылается на то, что руководствовался в своих действиях прецедентом с покойным царем, и заявляет, что, когда царскую семью арестовали, он и несколько других глав союзных военных миссий в Петрограде вызвались спасти узников и получили резкий отпор от своих послов. Жанен утверждает, что, хотя Колчак и объявил о своей отставке, он вовсе не отошел от дел и приехал в Иркутск все еще будучи верховным правителем, и, следовательно, любая попытка чехов защитить его явилась бы нарушением строгих приказов самих верховных комиссаров не вмешиваться в российскую политику. И наконец, в телеграммах, посылаемых им в Париж, он говорит о своей убежденности в том, что «расстреляли многих людей, кто принес гораздо меньше вреда Сибири и России, чем адмирал, его министры и его окружение».

У каждой проблемы есть две стороны, и, хотя оправдания Жанена звучат неубедительно, Черчилль девять лет спустя заметил, что «необходимо принять во внимание сложное положение этого офицера». Давайте взглянем на проблему с точки зрения Жанена и Сырового.

Жанен утверждал, и вполне справедливо, что не имел права рисковать чешскими арьергардами ради спасения жизни Колчака, а Сыровой, находившийся в Иркутске, считал такую попытку опасной и даже губительной для всей эвакуации. То, что чехов встречали враждебно, что их продвижение на восток осложнялось забастовками (или угрозами забастовок) и нежеланием сотрудничать персонала железной дороги и местных властей, — несомненный факт, объяснявшийся в некоторой мере тем, что чехи вроде бы увозили Колчака и золото за пределы досягаемости революции.

Правда и то, что чехи вполне обоснованно считали Колчака своим врагом; особенно оскорбил их его приказ Семенову взорвать байкальские тоннели, чтобы не допустить их эвакуацию. Сыровой впоследствии писал, что «для сохранения дисциплины в чехословацкой армии необходимо было отказаться от конвоирования Колчака». Хотя это последнее утверждение вряд ли стоит принимать на веру, остаются сомнения в том, что приказу Сырового подчинились бы, если бы он потребовал пойти на риск и конвоировать Колчака за Иркутск. А уж если бы эти приказы исходили от Жанена, которому легион всегда подчинялся лишь номинально, то ими точно пренебрегли бы.

Таким образом, аргументация Жанена и Сырового звучит вполне убедительно. «Несмотря на трудности и опасности, грозившие нашей эвакуации, — отмечал последний в официальном рапорте, — мы, по сути, защищали Колчака дольше, чем могли себе позволить». И далее подчеркивал, что Колчака все-таки передали не большевикам, а относительно умеренному Политическому центру.

Утверждения Жанена и Сырового, что обстоятельства оказались выше их, звучали бы убедительнее, если бы хоть что-то намекало на то, что для них это стало печальной неизбежностью. Ничего подобного. «Сплавили, и слава богу» — вот лейтмотив всех их попыток реабилитироваться. И это пренебрежительное, где-то даже мстительное отношение к человеку, за скорую расправу над которым они, безусловно, несут некоторую ответственность, заставляет вспомнить об их отношении к Колчаку с самого падения Омска. Целых два месяца генерал Жанен, главнокомандующий союзными войсками в Сибири, который, что бы лично он ни думал о верховном правителе, был кое-чем ему обязан, старательно избегал любых, даже телефонных, контактов с адмиралом. И целых два месяца генерал Сыровой задерживал, не гнушаясь угрозой применения оружия, движение на восток его поездов. Трудно представить, каким образом в те два месяца два старших по званию представителя союзников могли бы причинить больший ущерб человеку, поддерживать которого обязывал их служебный долг.

С этой точки зрения выдача Колчака представляется не единственным выходом из критической ситуации, неожиданно сложившейся в Иркутске, а логической кульминацией долгосрочного плана, целью которого было бро-

свить адмирала в беде или довести до гибели. Кто разработал этот план или насколько сознательно его сформулировал, определить невозможно. Опираясь на факты, с уверенностью можно лишь сказать, что он успешно претворился в жизнь. Жанен и Сыровой уверяют, что не могли не выдать Колчака, однако их слова о том, что они действовали в форс-мажорных обстоятельствах, неубедительны.

Политический центр отживал отпущенный ему срок. Его войска были малочисленны и ненадежны. Авангарды Красной армии уже были в нескольких сотнях километров от Иркутска, и путь им преграждали только войска Каппеля. Хотя чехи заявляли, что народ на всем их пути настроен против Колчака и его поезда просто не могли двигаться дальше, на самом деле, ни разу не выстрелив и не потеряв ни одного человека, они эскортировали его почти 500 километров по территории, чье враждебно настроенное население постоянно требовало его выдачи. Если чехам необходимо было купить охранную грамоту, то у них имелся золотой запас, но они покорно выдали Колчака и сокровище шаткому режиму, что говорит об отсутствии духовности и циничном пренебрежении международным мандатом, обязывающим их охранять и человека, и золотой запас.

Несколько недель спустя эту ситуацию реалистично оценил Роберт Ходжсон, бывший британский консул в Омске. Перечислив все, что можно бы назвать категоричными отрицаниями вины, утверждениями, что у чехов не было другого выхода кроме как выдать Колчака, он написал: «Вряд ли чехи всерьез приняли бы все эти соображения, если бы их действительно волновала безопасность Колчака. Они располагали обширным подвижным составом, собственными квалифицированными железнодорожниками и достаточным контингентом для обеспечения — при необходимости — работы черемховских шахт. То, что у них была физическая возможность успешно продвигаться на восток, демонстрирует переход армии Каппеля, находившейся рядом с ними, не пользовавшейся железной дорогой, обремененной огромным количеством больных, раненых, женщин и детей, и все же с боями пересекавшей Сибирь от Новониколаевска до Читы».

Колчак, как кто-то сказал, «сам выкопал себе могилу», то есть его отношение к чехам стало главной причиной его ареста и казни. На первый взгляд этот тезис обоснован и подтверждается не более поздними свидетельствами, а событиями, последовавшими сразу же за выдачей Колчака. В заявлении, сделанном чехами в Иркутске в начале февраля, сжато изложены их претензии к адмиралу. Они заявили, что Колчак, как любой российский гражданин, подчиняется законам и может быть предан суду за свои действия. И адмирал не мог рассчитывать на то, что ему предоставят убежище чехословаки, против которых он совершил уголовное преступление — отдал приказ Семено-

ву всеми возможными мерами препятствовать их продвижению на восток и не останавливаться даже перед разрушением мостов и тоннелей.

Здесь надо прояснить два момента. Первый: Колчак отдал свой безрассудный приказ Семенову лишь после того, как чехи своевольно и без предупреждения преградили ему путь на восток, иначе он вообще бы этого не сделал. Второй: к тому моменту, как чехи выдали Колчака, было ясно, что его приказ — пустая угроза. К середине января чешские эшелоны уже проходили или прошли байкальские тоннели. Скипетров (который так верил или притворялся, что верил, Жанену) отвечал за разрушение тоннелей и находился под присмотром чехов. Хотя и предполагали, что у него с собой много взрывчатки, в его небольшом сборном отряде не было квалифицированных саперов, и он никак не мог осуществить невероятно трудную задачу по разрушению прорубленных в скалах тоннелей.

Естественно, что Колчак вызывал у чехов неприязнь: он никогда им не доверял, а они не одобряли его политику. Конечно, его приказ Семенову усилил их враждебность. Понятно, что они предпочли позабыть, чем спровоцировали этот приказ. Ясно, что они хотели избавиться от ответственности за охрану Колчака, поскольку его присутствие в одном из поездов осложняло и могло поставить под угрозу их эвакуацию.

Если верить Жанену, накануне прибытия адмирала в Иркутск он сказал Сыровому: «Делайте все, что в ваших силах. Сохраните честь Чехословакии. Я поддержу вас». Почти наверняка оба командующих еще раньше договорились выдать Колчака. Не было предпринято никаких попыток затянуть переговоры, а потом оспорить выдачу. На директиву верховных комиссаров они не ссылались, хотя она накладывала определенные обязательства на Сырового и Жанена, а Политический центр, прекрасно осведомленный о ней, не мог этим запросто пренебречь. Ничего не было ни сделано, ни сказано, чтобы воспрепятствовать мирному процессу передачи Колчака. Чехи даже получили за него расписку.

Историку никогда не известны *все* факты, не говоря уж обо всех заблуждениях, влияющих на роль людей в цепи исторических событий. Однако сохранились достаточно полные данные об обстоятельствах, при которых (цитируем по официальному заявлению) «в 21.55 15 января 1920 года представители Политического центра (...) получили из рук чехословацкого высшего командования бывшего верховного правителя адмирала Колчака и бывшего премьер-министра Пепеляева». Если имеются пробелы, то не того сорта, что вызывают сомнения в достоверности складывающейся картины. Мы знаем, что было сделано, как сделано и почему сделано. Генерал Жанен и генерал Сыровой несут полную ответственность за происшедшее. История, сделав скидки на их трудности, должна предъявить им обвинение как инициаторам гнусного злодеяния.

Глава 22

Так заканчивается не очень сильно дискредитирующая авантюра. X., К.

Это заключительная фраза из документа министерства иностранных дел об аннулировании поста британского верховного комиссара в Сибири. За буквой «X» скрывается составивший документ заместитель министра лорд Хардинг, за буквой «К» — внесший поправки лорд Керзон, министр иностранных дел.

Ни одна из держав, участвовавших в интервенции, не могла бы вынести более честный вердикт своей собственной деятельности в Сибири. Правда, первоначальная цель была достигнута. Транспортные корабли с последними частями Чехословацкого легиона отплыли из Владивостока 30 ноября 1920 года. Хотя чехи, как и белые русские, получали материальную помощь от Антанты, нельзя сказать, что интервенция внесла значительный вклад в успешный вывод легиона из Сибири. События доказали, что чехи были вполне способны выпутаться сами и сделали бы это гораздо быстрее при отсутствии в Сибири войск Антанты. В действительности их присутствие отрицательно повлияло на судьбу легиона, ибо, хотя японские и американские гарнизоны защищали от партизан железную дорогу восточнее Байкала, войска Антанты провоцировали деятельность партизан, оскорбляли национальные чувства русских и стимулировали революционные волнения в несравнимо большей мере, чем проезжающие мимо чехи, а использование этими иностранными войсками подвижного состава и железнодорожных сооружений неизбежно задерживало движение легиона к побережью.

Кроме всего этого, единственную прямую угрозу успешному выводу чехов из Сибири представлял Семенов, и по единственной причине — за ним стояли японцы. Без них Семенов был бы не более значителен, чем неговорчивый начальник станции, и без них он не стал бы рисковать и упорствовать слишком долго.

Чехи ставили всего лишь одно обязательное условие: безопасную базу для себя во Владивостоке. Они взяли под контроль порт малой частью своих сил еще до того, как в поле зрения появился первый солдат союзников. Впоследствии не произошло ничего такого, что помешало бы им удерживать порт без всякой помощи, а если бы возникла внутренняя или внешняя угроза безопасности Владивостока, стоявшие в гавани союзные военные корабли являлись достаточной гарантией того, что ничего серьезного случиться не

может. Короче говоря, чехи почти ничего не выиграли от неуклюжей и противоречивой интервенции и прекрасно обошлись бы без нее.

Ликвидация колчаковского режима привела к созданию в Восточной Сибири условий, граничащих с анархией. Однако в начале апреля 1920 года были заложены основы некоего буферного государства, известного как Дальневосточная республика, постепенно утвердившегося на большей части территории между озером Байкал и Тихим океаном. Хотя Дальневосточная республика отменила частную собственность на землю, она скорее была радикальной демократией, чем авторитарным государством в советском духе, и за два с половиной года своего существования оставалась номинально независимой от Москвы. Фактически же являлась сателлитом, обязанным жизнеспособностью скорее желанию советского правительства оградить свои восточные границы от прямого контакта с Японией, чем стремлениям сибиряков к автономии. В октябре, после изгнания Семенова, правительство обосновалось в Чите. Семенов перелетел на аэроплане в Маньчжурию, где четверть века спустя нашел самый непредсказуемый конец.

Отплытие последних американцев весной 1920 года и последних чехов восемь месяцев спустя лишило японцев уважительных причин для сохранения большого экспедиционного корпуса на российской территории. Однако в марте партизаны уничтожили японский гарнизон Николаевска, находящийся в устье Амура, и убили всех японских граждан, живших в городе⁴⁴. Население Японии было шокировано, и как раз перед отплытием последнего американского транспортного корабля Токио выступил с заявлением о тревожной ситуации на российском Дальнем Востоке, угрожающей не только жизни японцев в Сибири, но и «всеобщему миру» в Корее и Маньчжурии. Из этого следовало, что японские войска не могут быть выведены «немедленно». Однако японцы сократили свою зону оккупации до прибрежных территорий, включавших Владивосток, и в 1922 году покинули Россию. В следующем месяце Дальневосточная республика, словно марионетка, которую дернули за ниточки из Москвы, проголосовала за собственную ликвидацию, и власть перешла к большевикам.

⁴⁴ Около 700 японцев ни в коем случае не были единственными жертвами. По меньшей мере 6 тысяч мужчин, женщин и детей — более трети городского населения — были убиты по приказу партизанского вожака Тряпицына. Один из его приказов предписывал убить всех детей в возрасте свыше пяти лет, которые в противном случае помнили бы увиденное и могли бы вынашивать мысли о мести. Начальником штаба Тряпицына и также его любовницей была Нина Лебедева, двадцатипятилетняя коммунистка, которая, как предполагали, следила за тем, чтобы николаевские партизаны придерживались советской политики. Верхом на коне, вооруженная до зубов и обычно затянутая в темно-красную кожу, она выглядела эффектно и театрально. Когда прибыла японская карательная экспедиция, Тряпицын сровнял Николаевск с землей и ушел в леса, где был арестован сподвижниками, запоздало возмущенными его страшными преступлениями. Тряпицына, Нину и нескольких гнусных убийц казнили после короткого суда. В Гражданской войне мало найдется эпизодов, более чудовищных, чем бойня в Николаевске.

Трагедия подошла к концу, актеры разошлись: некоторых ждало забвение, многих — из белогвардейского лагеря — нелегкая судьба. Не все исчезли из вида мирового сообщества. Генерал Сыровой занимал пост военного министра в чехословацком правительстве во время Мюнхенского соглашения 1938 года (англо-франко-германо-итальянский стовор об отторжении Судетской области у Чехословакии. — *Примеч. пер.*). После войны его приговорили к пожизненному заключению за сотрудничество с немцами, и генерал умер в 1953 году. Генерал Гайда был предан суду за измену и оправдан в 1926 году, вступил в фашистскую партию и за это (хотя он и отказался иметь дело с нацистами во время немецкой оккупации своей страны) в 1945 году оказался в одной тюрьме с Сыровым. Позже он был амнистирован. Генерал сэр Альфред Нокс, выйдя в отставку, сделал головокружительную карьеру в парламенте.

Но есть еще два человека, которые заслуживают более подробного упоминания, поскольку каждый из них по-своему оказал серьезное влияние на крах Колчака: атаман Семенов и генерал Жанен.

Побег Семенова в Маньчжурию явился прямым следствием отхода японцев к побережью. В первые месяцы 1920 года авангардам Красной армии было еще далеко до Байкала, но к западу и востоку от Читы росло и крепло партизанское движение. Маленькая отчаянная армия атамана была недисциплинированной, и он терял последние остатки своей власти. Не дожидаясь худшего, он бросил свое маленькое царство и своих людей на произвол судьбы. Еще до того, как аэроплан Семенова покинул Читу, золотые и серебряные слитки и другая его добыча были, с любезного разрешения японцев, переправлены в Маньчжурию.

Там он и жил до конца своих дней, если не считать поездки в США, откуда его депортировали после скандала и судебного преследования. Наряду с укреплением японцев в Маньчжурии усиливалась и зависимость от них Семенова. Можно предположить, что он фигурировал во многих их туманных заговорах и планах, нацеленных против его духовной отчизны — Монголии.

Всю свою жизнь Семенов был удачливым хищником, сеявшим неприятности, обустроившим свое гнездышко и быстро удиравшим при приближении опасности. Есть некоторая ирония в том, что в конце концов он покорно сдался режиму, которому энергично противостоял двадцать пять лет если не делами, то словами. Когда в конце Второй мировой войны Красная армия победила японские маньчжурские войска в военной кампании, длившейся едва ли неделю, Семенова арестовала русская служба безопасности в Дайрене.

В августе 1946 года с семьей другими белыми русскими, самым знатным из которых был князь Ухтомский, Семенов предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР. Всем восьми подсудимым предъявили об-

винение в многолетней антисоветской деятельности и в службе японцам. Показания против них с готовностью давал пленный японский старший офицер. О прошлом Семенова в период Гражданской войны почти не говорили, но утверждали, что весной 1917 года он пытался организовать заговор с целью убийства Ленина и других советских лидеров.

Всех обвиняемых признали виновными. Двое получили большой срок тюремного заключения в трудовых лагерях, пятерых приговорили к смерти через расстрел. Семенова повесили. Справедливость, парадоксально воплотившаяся в сталинском трибунале, настигла человека, который, превратно толкуя ее, убил, покалечил или разорил бесчисленное множество невинных людей.

Когда новости о случившемся в Иркутске достигли Парижа, французское правительство освободило генерала Жанена от командования и приказало ему вернуться во Францию, не афишируя, однако, этих своих действий. Жанен покинул Харбин в апреле, но до отъезда принял от генерала Дитерихса на хранение три чемодана и сундук, содержащие триста одиннадцать предметов реликвий из Екатеринбурга, относящихся к царской семье. Кроме документов и фотографий, ценный груз состоял из «десятков трех фрагментов костей, небольшого количества человеческого жира, накапавшего с поленьев (на которых сжигали тела), волос, ампутированного пальца, который эксперты идентифицировали как безымянный палец императрицы, обугленных остатков ювелирных изделий, маленьких иконок, крохотных остатков одежды и обуви, таких металлических деталей, как пуговицы, обувные пряжки и пряжка от ремня царевича, кусочков окровавленного ковра, револьверных пуль и так далее». (Печальный перечень не включал зубов, и Жанен объяснял это тем, что трупы были расчленены и головы, запакованные в деревянные опилки, забрал человек со зловещим именем Апфельбаум⁴⁵. Жанен твердо верил в то, что царя казнили немецкие агенты.)

Эти останки Романовых были собраны во время судебного расследования убийства, и разные люди в Харбине — среди них Роберт Уилтон, один из корреспондентов «Таймс» в Сибири, и Пьер Жильяр, учитель-француз, входивший в число домочадцев царя, — пытались организовать их вручение великому князю Николаю, старшему из выживших членов семьи, в то время находившемуся во Франции.

По какой-то причине Жанен решил снабдить рассказ о своем участии в передаче реликвий сомнительными таинственными подробностями. Напомнив о собственных тесных связях с царем (который однажды в разговоре с французским политиком назвал его «мой друг генерал Жанен»), он расска-

⁴⁵ Апфельбаум (Apfelbaum) — яблоня (нем.). Зловещее автор, должно быть, видит в том, что в европейских культурах издревле яблоко традиционно считалось символом грехопадения. (Примеч. ред.)

зал, как британских представителей власти попросили взяться за перевозку реликвий в Европу, но они отказались. За этим нежеланием сотрудничать Жанену почему-то чудилось влияние жены британского консула в Харбине, «по слухам, родственницы Троцкого». Жанен с готовностью ринулся в образовавшуюся брешь. Когда сгустились сумерки, Дитерихс и Гийар внесли в его вагон три чемодана и сундук. Они доложили, что за ними следовали «тревожащие силуэты», растворившиеся в темноте при встрече с чешскими часовыми. Из отчета Жанена невозможно определить, кто, по его мнению, имел виды на царские реликвии, как их намеревались присвоить и по каким мотивам. Тем не менее в Пекине он из предосторожности потребовал опечатать груз дипломатическими печатями, а когда в Шанхае погрузился на французский военный корабль, морские офицеры, как он вспоминал, «облегчили его задачу по охране чемоданов во время путешествия». Мы теряемся в догадках, от кого требовалось охранять реликвии на борту военного корабля. Мы также не знаем, как тленные останки выдержали путешествие через Индийский океан в самое жаркое время года.

Жанен, по его словам, считал себя хранителем царственных останков от имени Франции и был удивлен и раздосадован, когда, прибыв в Марсель, не обнаружил официальной торжественной встречи. Местный чиновник предложил генералу передать останки в ведение министерства иностранных дел, которое и проследит за тем, чтобы чемоданы дошли до великого князя Николая. Однако Жанену казалось, что такое развитие событий несовместимо с возложенными им на себя обязанностями, и перед отъездом в Париж, где должен был доложить о своем возвращении с Дальнего Востока, оставил реликвии на своей вилле близ Гренобля. Если читать меж строк его отчета, то за суетливыми рассуждениями о реликвиях чувствуется жалкая попытка оправдаться, отвлечь внимание от собственных сомнительных поступков в Сибири, подтвердить с помощью нескольких косточек и пуговиц свое право нести гроб на похоронах союза с Россией, когда-то столь много значившей для Франции.

Расчеты не оправдались. Жанена холодно приняли в Париже. Военный министр предупредил его, что он попал в немилость. Это подтвердил и министр иностранных дел при встрече, которую Жанен назвал «весьма оживленной». Вероятно, беседа была нелицеприятной — речь шла о расследовании поведения генерала по отношению к Колчаку. Расследование ни к чему не привело, однако Жанен не получил пост главы французской военной миссии в Праге, на который был самым очевидным претендентом. Чехи, высоко оценив заслуги генерала, отклонили его кандидатуру. Жанена отправили в отпуск, а в дальнейшем он служил на незначительных должностях.

В октябре 1920 года, шесть месяцев спустя после того, как Жанен взял на себя ответственность за царские реликвии, он сумел передать их соотече-

ственникам Николая II. Казалось, они никому не нужны. Великий князь Николай отказался взять их на хранение на том основании, что он теперь всего лишь частное лицо. Бывшему русскому военно-морскому атташе в Париже, которого каким-то образом привлекли к решению проблемы, негде было хранить их. Жанен считал, что банковское хранилище не подходит, и останки должны быть выставлены для торжественного прощания.

В конце концов Жанен, по решению великого князя, передал реликвии старшему по должности российской дипломатической службы и получил расписку в трех экземплярах. Как ему сказали, реликвии отправят в штаб Врангеля в Крым, но вскоре режим Врангеля рухнул, и Жанен так уже и не узнал, что же стало с этим печальным грузом, который он так старательно доставил из Харбина. Он видел иронию судьбы в том, что все, что осталось от царской семьи, после столь долгого путешествия под охраной «иностранца с преданным сердцем» закончило свой путь во Франции (стране, когда-то бурно приветствовавшей русского царя), и никто не знал, обрели ли скорбные останки достойную могилу.

На этом мы можем проститься с «иностранцем с преданным сердцем», который не жалел сил, чтобы сохранить палец царицы, пряжку от ремня ее сына и много других мелких обугленных, глубоко чтимых предметов. Если бы Жанен так же позаботился о смелом человеке, интересы которого должен был защищать по долгу и по совести, Колчак обрел бы более достойное место упокоения, чем дно замерзшей Ушаковки.